



# Вячеслав Рыбаков

## Се, творю

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=447595](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=447595)  
*Се, творю: Эксмо; М.; 2010*  
*ISBN 978-5-699-45349-8*

### **Аннотация**

Человеческие судьбы и шпионские интриги причудливо переплетаются вокруг секретного частного проекта «Полдень», в рамках которого на средства олигарха-мецената разрабатывается новая российская космическая программа. В ходе исследований участники проекта под руководством ученого Журанкова открывают революционный способ перемещения на огромные расстояния.

Однако слишком много внешних сил стоит на пути людей, занимающихся разработками, – не только российские спецслужбы и иностранные разведки, но и бессмертный закон подлости...

# Содержание

Часть первая	4
1	4
2	21
3	32
4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Вячеслав Рыбаков

## Се, творю

*С благодарностью – Павлу Амнуэлю, от которого я узнал слово «эвереттика»,  
и да простит он мне вольное обращение со строгой наукой.*

### Часть первая

#### Осколки

#### 1

Горящая синева.

И по сторонам – ослепительно рыжие гряды тяжелых иззубренных гор.

Может, они заботливо поднесли долину скалистыми, будто мозолистыми, ладонями к живительному заливу, полному синего света и синего ветра. Может, опасаясь неверности, сдавили ее, чтоб не загуляла с соседями («Ты помолилась на ночь, Дездемона?»). А может, наподобие простежки наложенной шины из двух туго стянутых небом и морем рыжих дощечек, зафиксировали ее, чтобы, как заподозренную на перелом кость, избавить от дальнейших превратностей.

В Третьей книге Царств черным по белому написано, что где-то тут, близ Елафа, построил корабль сам царь Соломон, и отправились корабельщики, знавшие Чермное море, с подданными Соломоновыми в Офир, и взяли они оттуда золота четыреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону. До чего ж политкорректно: взяли, да и все. Приплывают, а на пустынном берегу в ряд лежат, понимаешь, золота четыреста двадцать бесхозных талантов. Чего ж не взять?

Теперь едва ли не на том самом месте, где царь Соломон строил корабль, серой кубической глыбой громоздится док, в котором во времена шальных арабо-израильских войн чинились корабли американского флота – шестого, кажется. А впрочем, думал он, шут его знает; янки, которым втемяшилось осчастливить мир своим руководством, напекли себе в утеху столько флотов, что не вдруг и вспомнишь порядковый номер того или этого; да и какая разница, пусть их флоты лошадь помнит, у нее голова большая.

В Четвертой книге Царств сказано, что взял народ Иудейский Азарию, коему было шестнадцать лет, и поставил его царем вместо отца его Амасии, и Азария обстроил Елаф, и возвратил его Иудее.

Но чуть позже сказано, что Рецин, царь Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и тогда уже идумеяне вступили в Елаф, и живут там до сего дня.

Впрочем, что для книги Царств было сим днем, в дни наши несколько подернулось дымкой. Шут их теперь разберет, идумеян, кто они были такие.

Говорят, в сорок девятом году прошлого века, когда армия Обороны Израиля пробилась сюда, к Красному морю, командир подразделения, первым зачерпнувший ладонями соленой водички, направил в штаб телеграмму: «Мы дошли до края карты. Что делать дальше?» Ответ история то ли не сохранила, то ли засекретила, то ли не оказался он исполнен столь же бравою боеготовности, и оттого не вошел в легенды; судя по дальнейшему, в ответе этом предписывалось глушить моторы.

С тех пор и свисает текущая молоком и медом страна, точно вывешенный на просушку пионерский галстук, через пустыню Негев на крайний юг, к полосе прибоя, узким длинным клином раздвинув соседей, между грядками медно-рыжих раскаленных гор, что поднесли ее к лучистому заливу натруженными отцовскими ладонями. Мол, освежись, маленькая.

Полтора часа неспешной прогулки направо – и вот вам Египет за поворотом, стой. Час прогулки налево – и даже поворачивать никуда не надо, вот она, Иордания, опять граница, опять ходу нет, и далеко впереди, обесцвеченный и задымленный мутным расплавленным зноем, медленно извивается в горячем ветре на штыре высотой чуть ли не с Эйфелеву башню иорданский флаг – говорят, самый большой флаг на планете Земля. Кто чем самоутверждается – кто размерами флотов, кто размерами флагов...

Говорят, если взгромоздиться на самую величавую и самую красивую в округе гору, носящую имя того самого царя Соломона, по-здешнему – Шломо, а по сути – тезки Семена Кармаданова, то в качестве бонуса за усилия и еще одну страну дополнительно можно увидеть за Иорданией: Саудовскую Аравию. Все тут сошлись, не сговариваясь – как буренки на водопой.

И самая роскошная гостиница на протянувшейся от границы до границы у ног Шломо гламурной набережной называется «Царица Савская» – на иврите, кажется, «Малкат Сва» или «Шва», или как-то так; здешние утверждают, что простое «малка», ежели в словосочетании, благодаря смихуту превращается в «малкат», а в самом «Сва» буква «шин» должна читаться как «с»; и гостям, заслышав из-за двух коротких слов целую науку, остается только кивать: ну, мол, ясно, смихут, ага, и вообще куда же Шломо без какой-нибудь малки.

Эйлат.

Шабат.

Шабат в Эйлате.

Страшно подумать, и в суетных головах, привыкших жить от забора до обеда, от квартального отчета до годового, и даже историю мерить пятилетками либо президентскими сроками, категорически не укладываются здешние размерности – но против правды не попрешь: медно-рыжие гряды гор знают слово «шабат» уже что-то около трех тысяч лет. А может, и больше.

На пляже яблоку негде упасть, и гвалт страшный, как на восточном базаре. Приятно посмотреть – нормальные же люди, оказывается, кричат, хохочут, перебивают друг друга, размахивают руками; конечно, тут тебе не заунывное правозащитное заседание и не худсовет о том, как бы в очередной раз теперь уж на всю катушку обнажить мерзкую и ничемную природу хомо советикуса. Кажется, после священнодействий эрев шабат (в конце второй недели отпуска тезка царя Соломона уже настолько просветлился, что знал – в переводе эти слова значат «вечер субботы»), а приходится эрев шабат аккурат на вечер пятницы) вся страна, проснувшись, махнула с утраца оторваться на юг. Ведь средиземноморское побережье только для диких, еще не весь снег с ушей стряхнувших северян может служить курортом; нормальному человеку там холодно, иногда просто в дрожь кидает, и вообще там города. Если видишь на тель-авивском пляже в ноябре человека в купальном убранстве – знай, он из Вологды откуда-нибудь, а если в пальто – здешний; тоже, может, из Вологды, но уже лет не меньше чем десять тому.

А вот у подножия «Царицы Савской» и прочих фешенебельных угловатых громад свой брат весь голый, смуглый, белозубый, с лохматыми плечами, а то и спинами (про грудь и говорить не стоит), и все орут друг другу, неистово жестикулируя, порой чуть ли не с одного края пляжа до другого, и дамы, сверкая умощенными косметикой Мертвого моря прелестями, им в том отнюдь не уступают, потому как компании большие, на двух-трех-пяти лежаках нипочем не поместиться, а треп явно общий.

И кушают, кушают, кушают. А потом кушают еще. Потому что жизнь прекрасна.

Множественное равномерное жевание царило кругом; из-за ритмичного движения всех окрестных челюстей казалось, будто попал внутрь громадного часового механизма. Кушают – и время от времени, уж конечно, запивают. Жуют и хохочут с набитыми ртами. И горланят. Идешь к своей лежанке, и с той же частотой, с которой где-нибудь на Клязьме долетает «блин», тут со всех сторон летит непонятное и в загадочности своей еще более звонкое и манящее «алакефак!», «тафсиквар!», «мамаш магнив!», «ма ихпатли?»; поразительно красивый язык, гортанной придыхательностью своей и обильным цоканьем похожий то ли на грузинский, то ли вообще на какой-нибудь ацтекский с его Кецалькоатлем, Уицилопочтли и Тескатлипокой...

Впрочем, порой и нечто более понятное донесется – но, несмотря на формальную понятность или, вернее, благодаря ей, по сути-то еще более таинственное: «Когда я работал председателем колхоза на Южном Урале...» Или: «После этого Эфрос совсем обрусел. Как, скажи на милость, он в таком состоянии мог совладать с Таганкой?»

А стоило только, подстелив мохнато-мягкие пляжные полотенца, блаженно растянуться на лежаках – по соседству, будто стремглав слетевшаяся на куст воробьиная сходка, сгрудилась и загалдела стая молодых. Лоснящихся от загара, мускулистых, уверенных. Энергично отдыхают и столь же энергично чирикают по-своему...

И то и дело: ха-ха-ха.

Лежавший справа от Кармаданова Гинзбург неодобрительно покачал головой. Разлагался он широкой чернокудрой спиной к раскаленному обвалу солнца, сцепленные ладони подстелив под щеку, и потому это покачивание проявилось так: лысый затылок поколебался вверх и вниз.

– О чем они? – вполголоса спросил Кармаданов.

Собственно, он не знал, как вести себя с Гинзбургом. Они уже встречались за дружественным столом и даже успели, посреди круговерти яств тети Розы, съесть пуд не пуд, но нешуточное количество соли; и теперь доверительный, товарищеский тон казался Кармаданову самым верным. Ведь только товарищи могут сцепиться всерьез, а потом – будто и не было ничего.

Гинзбург, однако, лишь досадливо сморщился и не стал пояснять. А поскольку Кармаданов видел лишь его затылок, то и понял просто: ему не ответили.

Ладно, подумал Кармаданов благодушно. Разве можно что-то достоверно понять в чужой жизни, подглядывая в замочную скважину шириной в двенадцать дней? Лучше и не пытаться.

Однако Гинзбург передумал.

– Веселятся и гордятся, – переложив голову на другую щеку и оказавшись к Кармаданову лицом, сообщил он тоже вполголоса и тоже доверительно. Как свой своему. – Мы, мол, придем и всем покажем. В ЦАХАЛ призвали, отрываются напоследок.

– Цахал... – нерешительно повторил Кармаданов.

– Цва хагана ле Израэль, – пояснил Гинзбург по-преподавательски терпеливо («Видите? Я терплю. Я очень терплю! Все поняли, какой я терпеливый?»). – Армия наша.

– А-а! – уразумел наконец Кармаданов. – Призывнички-новобранцы!

– Именно.

– Надо же. И без пива.

– Ну, – уклончиво сказал честный Гинзбург, – день впереди еще длинный...

Сима размягченно обвалила одну ногу с лежака, потом другую. Чувствовалось, ее припекло.

– Пойду окунусь, – сказала она.

– За ограждение не заплывай, смотри, – сонно, как кошка на припеке, на рефлексе наказала Руфь.

– Конечно, мама, – со столь же автоматической, ничего не означавшей кротостью ответила Сима и пошла к воде – тонкая, невесомо гибкая и безукоризненно гармоничная в каждом мгновенном переливе, будто пламя субботней свечи.

Призывники уставились ей вслед. Просто откровенно пялились. Сима уже по колено вошла в сапфировую, в текучих золотых сполохах гладь, а ребята все посматривали. Один причмокнул, другой смачно сказал что-то вроде «Мазекусит хавал алхазман!».

– Ох, – пробормотал Гинзбург.

– Что он сказал? – спросил Кармаданов.

Гинзбург ответил дипломатично:

– Сима ему понравилась.

Нет, Кармадановы уже немало успели увидеть в замочную скважину.

Конечно, Иерусалим. Господи, Иерусалим!

На въезде пролетели мимо пяточка земли, стиснутого провонявшей выхлопами магистралью и навалившейся сверху горой; из пяточка торчали три, кажется, палки и один веник с одинаково хилыми листьями, а выше, на забранном в тесаный камень крутом склоне помпезно сообщалось на четырех языках, что это «Сады Сахарова» – каждому воздастся по трудам его; и вот уже, откуда ни возмись, строгая, светлая гробница царя Давида. Да нет, ладно, что говорить о храмах, синагогах, мечетях, о золотых куполах и, тем паче, об изобильных магазинах и лавках, заполонивших весь гипермаркет, по старинке называемый крестным путем; что говорить о красотах рукотворных – человек издавна умел сделать красиво и богато, сам при том никак не переставая быть полным чучелом. Кармаданова пронзило иное: застекленный квадратный иллюминатор, глядящий в самую известняковую глубь Голгофы. Наверху – блещет золотом и художествами неизменно лукавое человечье рукоделье, а по ту сторону стекла – невзрачная молчаливая основа, пополам взломанная той трещиной, которая сотрясла холм, когда отошел Иисус. Как хочешь относиться к этой сомнительной истории, но если видишь вот так, перед носом, тот самый камень, по которому ходили, возможно, те самые ноги, на который лились, коли уж так, те самые слезы – мурашки все ж таки бегут по коже, волосы встают-таки дыбом, и никакая позолота, никакие ухищрения тщеславных поздних гениев с этим камнем не сравнятся. Это – настоящее... О таком и сказано: и камни возопиют.

А пустыня в Тимна-парке, уже здесь, неподалеку от Эйлата! Она тоже была потрясением. Совершенно неожиданным, надо признаться; ведь что уж может быть такого в пустыне, пустыня – она пустыня и есть, там пусто, и шабаш. Вот наш, мол, шелестящий и щебечущий лес или, в конце концов, взволнованное море...

Ан нет.

Розовые скалы раскаленными айсбергами всплыли из бескрайней глади жаренного солнцем песка. Угловатый горизонт знобит зноем. Исступленная синева небес летит над обомлевшей планетой. И космическая тишина. От нее кружится голова, а уши будто кто-то высосал. Ничто не движется, ничто не звучит. Вечность. Наверное, это похоже на Марс, думал Кармаданов, торопливо уводя Руфь и Симу подальше от двухэтажного туристического автобуса, который, беспардонно рокоча мотором вхолостую, глушил божественное безмолвие. За полкилометра было слышно, как скрипит песок под ногами туристов, оставшихся позади; даже голоса уже погасли, даже моторный рокот затерялся в бездне – но скрип песка... А если бы вон там, далеко, козявочка в джинсах и футболке не вздумала переступить с ноги на ногу, даже этот мимолетный скрип не нарушил бы молчания подлинной планеты. Ничто не нарушило бы. Какие русские, какие евреи! Какие, прости Господи, европеиды, монголоиды, негроиды! Для этого песка, для этих скал даже кроманьонцы, наверное, были не более чем суетливыми выскочками; прибежали на прослушивание с утра пораньше, но и рта толком не успели открыть, лишь протянули, собираясь с мыслями, невразумительное

«Э-э...», а председатель приемной комиссии уже заломил страдальчески бровь и с разочарованным вздохом промолвил в который раз: «Достаточно. Следующий!»

Конечно, Кармадановы не сами катались туда-сюда по незнакомой стране. Их возили. Гостеприимная и энергичная тетя Роза мобилизовала целое сонмище родственников возраста Руфи и моложе, те, в свою очередь, взяли в оборот друзей и подруг, так что порой на трех туристов приходилось шесть-семь гидов, каждый из которых тянул в свою сторону и добросовестно рассказывал свою версию событий, происходивших вот на этом самом месте при, скажем, Деворе или, например, Иеремии. Излагали они упоительно. «Царь Давид был, конечно, не самым умным молодым человеком, но он довольно много сделал для нашей страны...» А когда увлекшиеся гиды начинали, забыв о пришельцах из России, горячо спорить друг с другом – это вообще была песня. Довольно скоро Кармаданову пришло в голову, что ребятам самим интересно и приятно на законном основании, с благородной примесью гуманитарной помощи («Как? Вас еще не свозили на Кинерет? Там же гробница Рамбама! И плюс отличное купание...») самим посетить любимые места любимой страны; ведь всегда и везде у порядочных работающих людей не хватает времени досужливо кататься туда-сюда просто так, без мало-мальски великой цели.

Да и само общение с гидами оказалось отдельным удовольствием и тоже – неожиданным. Оказалось, они все как на подбор свои в доску. Свои, родные, из светлого прошлого, так и не ставшего светлым будущим. Они порой лучше Кармаданова и Руфи помнили советские анекдоты и сплетни, в детстве и в молодости они читали те же книги и смотрели те же фильмы, что Кармаданов и Руфь, с любым из них можно было от души поговорить о том, кто в каком классе в первый раз посмотрел «Солярис», прочел «Процесс» и что при том подумал, и кто как шпаргалил на вступительных; те давние переживания и воспоминания остались с ними во всей полноте и красе. Новые не вытеснили их и не расплющили, не отфильтровали так, как, cedясь сквозь выверты меняющейся, но не сменной жизни, профильтровались и изогнулись юные впечатления и ощущения Кармаданова. Былое осталось само по себе, в отдельном гнезде, в старом шкафу; рядом с ним при перемене страны просто поставили новый, и там с нуля начали копиться совершенно иные впечатления и ощущения. А в старом все осталось неизменным. Встречаясь с этой неизменностью, Кармаданов будто и сам возвращался в молодость. Русскоязычные иностранцы, с которыми его и его семью на несколько часов или дней сводила в поездках по Израилю судьба, были те самые удивительные младенцы шестидесятых, подобных которым никогда не было и никогда больше не будет; были те, с кем он играл в полет на Венеру и в разгром Гитлера, сдавал экзамены, обменивался книжками, сражался класс против класса в школьный КВН, хвастался, что папина «Спидола» ловит «Немецкую волну», обсуждал повести Стругацких и пьесы Фриша и Дюрренматта, разбирал по косточкам «Девять дней одного года» и «Комитет девятнадцати» – кондово советские, но будоражившие мысль получше малодоступной и зачастую слишком уж тупо брызжащей ненавистью антисоветчины, бескорыстно спорил о коммунизме, о пришельцах, о путешествиях во времени... Те, кого в России почти не стало (а кто и остался – изменился непоправимо) и кого Кармаданову не хватало до удушья...

И, конечно, их беспрерывно потчевали.

Он почти сразу отчаялся запомнить названия неисчислимых экзотичных и неизменно лакомых яств, которые будто сами собой выбегали на стол по вечерам, стоило ему с женой и дочерью, усталым и довольным, вернуться в дом. Память в состоянии оказалась удерживать лишь самое простецкое, второстепенное, расхожее: пита, фалафель, хумус, тхина, чолнт, гефилте фиш... А бдительная тетя Роза неутомимо руководила кулинарными атаками, не давая передышки, да еще и время от времени укоризненно отмечала: «Вы что-то плохо кушанькаете...» Или: «Руфочка, по-моему, ты нынче похудела. Так нельзя, надо себя

беречь». «Семен Никитич... вы позволите, я по праву возраста буду звать вас Семочкой? Семочка, вот этот ломтик, по-моему, на вас просто смотрит...»

И отказаться было невозможно. Во-первых, вкусно, во-вторых, очень вкусно, а в-третьих – пальчики оближешь. Русскому кошерное только подавай! Да и обижать хозяйку никак не хотелось. Сладостный процесс обжорства ни по каким статьям не поддавался контролю.

Серафима была счастлива. Ей впервые открылся простор совсем иного мира; вот какие, оказывается, есть еще на белом свете люди, горы, доли, берега, пальмы, сикоморы, смоковницы – и восторг сквозил в каждой ее реплике, в каждом движении. Она носилась, как гончая, будто хотела за один приезд протереть до дыр весь так непохожий на Родину край.

Руфь расцвела. Поведение ее не изменилось, она была все так же сдержанна и скептически, но страна делала свое дело. Жене будто легче стало дышать. У нее в зрачках будто зажгли по маленькому задорному солнышку. Ее губы налились, помолодели; по губам судя, Руфь только и делала, что минутою назад с кем-то взасос целовалась. И Кармаданов обмирал от тревоги, которую нельзя было ни в коем случае не то что высказать, но даже намеком обнаружить, даже тенью слабой, потому что будет только хуже; ведь женщина всегда захочет жить там, где она красивее. Это уже не идеи, не национальные дела, это физиология в чистом виде, и чтобы против нее идти – надо быть просто-таки доктором Менгеле. Но как-то утром, на пятый, что ли, день или на шестой, Руфь после утреннего душа долго молча оглядывала себя в зеркало с недовольным видом, левым боком поворачивалась, правым, снова левым, хмурилась без объяснений и наконец заключила ворчливо:

– Надо поскорей ноги уносить.

Кармаданов торопливо сунулся в ванную. Будто не расслышав, переспросил:

– Что?

Руфь повернулась к нему. Чуть улыбнулась. Спела коротко:

– А я в Россию, домой хочу... – Снова помрачнела. – Нет, серьезно. Я прибавляю здесь по полкило в день. Это смерть. К концу отпуска у тебя рядом вместо женщины с относительно приличной фигурой будет одно сплошное брюхо на тоненьких ножках.

У Кармаданова будто гора с плеч свалилась.

Именно в тот день оказался приглашен к ужину Гинзбург.

То ли Израиль воистину страна маленькая, то ли люди тут очень общительные и все друг друга знают если и не прямо, то через одного. Отыскать ученого не составило большого труда – еще бы, один из самых почтенных и любимых молодежью преподавателей Техниона; и не только отыскать труда не составило, но и усадить с Кармадановым за один стол, на соседних стульях, чтобы могли поговорить без помех. Впрочем, тетя Роза учинила сюрприз, и в первый момент Кармаданов только недоумевал, что за пожилой мужик возник тут, как свой среди своих. А потом тетя Роза сказала:

– Семочка, позвольте вам представить Мишеньку Гинзбурга. У вас, кажется, было к нему какое-то русское дело...

Кармаданов даже поперхнулся.

– Точно, – сказал он, откашлявшись, и повернулся к Гинзбургу. – Было. Крайне русское.

– Михаил, – представился Гинзбург, внимательно и спокойно глядя на Кармаданова.

– Семен, – в тон ему ответил Кармаданов. И добавил автоматически, не очень-то понимая, уместно это сейчас говорить, или нет: – Очень приятно.

Гинзбург усмехнулся.

– У Розы Абрамовны не бывает неприятно, – сказал он.

Он был лет на пятнадцать старше Кармаданова. Крепкий и поджарый, густобровый и лысый; мощный череп его напоминал купол восточной гробницы.

Кармаданов совсем не силен был в дипломатии. Несколько раз он репетировал про себя этот разговор, но вот так нежданно встретившись с Гинзбургом лицом к лицу, тарелка к тарелке – совершенно стушевался.

Когда не знаешь, как себя вести – непроизвольно начинаешь шутить.

Шутка – нечто вроде приглашения к снисходительности. Мол, не судите строго, я говорю одни пустяки. Иногда она с успехом заменяет позу покорности. Беспомощные люди – самые улыбочивые на свете.

Впрочем, нет, сообразил я. Чаще всего улыбаются и шутят предатели.

Но, собственно, что такое предательство, если не предельная степень беспомощности?

Губы Кармаданова сами собой сложились в улыбку, и сам собой заговорил язык.

– Да вот, видите ли... – сказал он. – Знаете, как в советское время приходили с черного хода к директору магазина, чтобы получить дефицит... Я от Иван Иваныча.

– Припоминаю, – ответил Гинзбург выжидательно и серьезно. Он улыбаться не собирався, да и не имел к тому ни малейших поводов.

Сима искоса напряженно следила за отцом.

– Семочка, – заботливо сказала тетя Роза, – дела делами, а о еде не забывайте. Руфочка, подложи мужу курочки. Видишь, как он напряжен? Это от недоедания... Мягче, это же меурав иерушалми, а не сосиска.

В глазах Руфи танцевали веселые золотые конфетти, когда она щедро шмякнула на тарелку Кармаданова раскаленной куриной смеси.

– Кушай, Мокушка, – нежно сказала она. Сима прыснула.

– Вот и я к вам от Бориса Ильича, – сказал Кармаданов. – Просто с приветами, наилучшими пожеланиями и общими воспоминаниями.

Взгляд Гинзбурга задумчиво затуманился. Теперь ученый смотрел уже не в лицо Кармаданову, но сквозь него, в собственное прошлое.

Непонятно было, помнит он, кто такой Борис Ильич, или имя Алдошина для него уже ничего не значит. За столом стало тихо – все ждали продолжения.

– Как его здоровье? – наконец спросил Гинзбург.

Это оказалась совсем не та реакция, на которую рассчитывал Кармаданов. Дань вежливости? Выигрыш времени, чтобы про себя еще поразмыслить и прикинуть что-то? Или старого ученого действительно по каким-то причинам волновало здоровье бывшего почти коллеги?

– Честно говоря, про здоровье он мне ничего передавать не наказывал, – снова улыбнулся Кармаданов. – Обычное здоровье. Обычное для его возраста, для нашего климата и нашей жизни.

– Ну, насколько мне известно, – сказал Гинзбург, и сразу стало понятно, что он вполне в материале, – Борис Ильич сейчас живет весьма насыщенной жизнью, так что со здоровьем все должно быть в порядке. Вы же знаете, наверное, как у творческих людей здоровье зависит от востребованности.

– Ох, знаю, – улыбнулся Кармаданов.

Тогда уж и Гинзбург чуть улыбнулся.

– И какой же дефицит вам нужен? – спросил он.

Кармаданов никак не рассчитывал вести этот разговор при всех, между двумя ложками вкуснятины. Он наколот на вилку блестящую черную маслину из одного из салатов и вкупе с куриным сердечком отправил в рот. Медленно разжевал. И решительно брякнул:

– Вы.

Более всех всполошилась, натурально, тетя Роза. Она даже руками всплеснула.

– Семочка, вы намерены увезти Мишу обратно?

Кармаданов пожал плечами.

– Михаил не дефицитный микроскоп, – сказал он. – Как я могу его увезти? Просто академик Алдошин просил меня огласить таковы слова: передайте привет, а если у него сохранилось хоть малейшее желание работать в российской космической отрасли, то и самое любезное приглашение. Мы со своей стороны ждем Мишу Гинзбурга с распростертыми объятиями.

Повисла пауза. Гинзбург смотрел теперь уже явно мимо Кармаданова, куда-то в межпланетную даль, и машинально чертил по столу вилкой. Руфь озабоченно хмурилась. Голодная Сима не могла утерпеть и, несмотря на отчетливую напряженность момента, что-то поклевывала с тарелки, время от времени украдкой взглядывая на взрослых.

– Ну а что такого? – спросил Кармаданов. – Пожили там, потом пожили здесь, теперь опять поживите там. Недалеко же.

Тетя Роза поджала губы, вздохнула и вдруг выдала:

– Ах, я смотрю, у вас там до сих пор спят и видят сделать Израиль шестнадцатой республикой.

– Да побойтесь бога, Роза Абрамовна, – ответил Кармаданов. – Таки не делайте мне смешно. Российские ракетчики спят и видят, чтобы братским Израилем правил какой-нибудь пан Ющенко?

Сима с удовольствием хихикнула, отметив, как тетя Роза, хоть и не ответив ничего, произвольно передернулась всем своим немалым телом.

– Корпорация «Полдень», – задумчиво произнес Гинзбург и наконец снова стал смотреть прямо на Кармаданова. – Частный космос...

– Мы всех по возможности собираем, – сказал Кармаданов.

– Я слышал, из европейского космического агентства двух бывших своих обратно сманили полгода назад, – на пробу сказал Гинзбург.

– Точно, – с достоинством ответил Кармаданов. – Только я бы чуточку иначе сформулировал: это европейское агентство их у нас в лихую годину сманило. А теперь положение вернулось к естественному и надлежащему состоянию. Потому что свои бывшими не бывают, а уж если не свой – так он, значит, и раньше не был свой.

– Эх! – сказал Гинзбург. Усмехнулся. – Спичрайтер долго думал?

– Это моя личная импровизация, – заверил его Кармаданов.

– Он может, – вдруг добавила Сима. Все на мгновение уставились на нее. Похоже, она не очень понимала, что происходит, но, конечно, была на стороне Кармаданова в этом разговоре; разговор же, судя по очевидным признакам, грозил выродиться в некий смутный поединок – и дочь всей душой желала отцу победы. Тетя Роза молча погрозила ей пальцем: не перебивай старших. Сима собрала губы гузкой.

– Скажите, Михаил... Вы очень осведомлены. Вы немножко следили за нашими делами? Интерес, стало быть, какой-то сохраняется?

– Какой-то – сохраняется, – не очень понятно, но многозначительно сказал Гинзбург. – Но мне надо бы знать подробнее...

– Ну, я и сам подробностей не знаю, я же бухгалтер, а не конструктор. Я всего лишь... это... посол мира. Связной. Провод протягиваю. Первый, первый, я Ласточка – как слышите? Насколько мне известно, начальный этап программы – просто попытка удешевления уже существующих носителей. И параллельно – теоретическая отработка и оценка перспективных направлений. Вот с прицелом на этот второй этап Алдошин и старается собрать всех, до кого еще можно дотянуться. Нужен какой-то прорыв в космической технике. Качественный скачок. Всеми миру нужен.

– Это-то очевидно... – протянул Гинзбург, похоже, думая при этом о чем-то своем.

Да, он думал о своем. О многом своем. Он инстинктивно ждал чего-то такого от сегодняшнего вечера – хотя не было ни малейших заблаговременных признаков, что именно

Кармаданов, муж приехавшей в гости и на отдых родственницы Розы Абрамовны, окажется тем, о ком его предупреждали. Конечно, приглашение, высказанное вот так попросту, будто среди друзей и невзначай – обезоруживало. Обескураживало. Провоцировало полагать, что и впрямь все совершенно нормально, просто предложение новой интересной работы. Оно подразумевало ответ столь же простой. Это Гинзбург понимал.

Но мысли сами собой откатывались на иное. Вдруг высунувшаяся из тумана Россия, с которой было, казалось, покончено, настигла его мягкой и на сей раз, что греха таить, по-человечески вполне обаятельной лапой в гостеприимном доме на тихой Сдерот Ерушалаим, где Гинзбург бывал до сих пор лишь дважды, но неизменно дружески и по-доброму, без брони, которую отращивает с годами всякий человек и носит во всякой мало-мальски официальной или просто незнакомой обстановке. Оттого и лапа тоже коснулась не брони, а его самого, живого и незащищенного. И российское, полузабытое и вроде бы давно и надежно заваленное многолетними отложениями настоящей жизни, тоже вдруг выскочило из прошлого и вспухло рядом. Оказалось – ничто не забыто.

Обжигающе припомнилось, как его в третий раз – и в последний перед подачей документов на выезд – прокатили на институтской переаттестации и не дали главного, оставили ведущим. Никаких тому объяснений не могло быть; хоть пуп надорви – не выдумаешь ничего, кроме пятого пункта. И когда его любимая аспирантка, Нина Фельбер, принялась было истово его утешать в коридоре перед дирекцией, Гинзбург в ответ вынужден был ее же и успокаивать: «Ниночка, ну что вы так нервничаете? Ведь все в порядке вещей, никакой трагедии, никакого сюрприза. Ничего иного и ожидать было невозможно... Вы думаете, я огорчен? Да ни в малейшей мере! Я человек тренированный, и я принадлежу к очень тренированному народу...» Он еще многое мог и хотел сказать почти плачущей от сострадания девочке, но из директорских дверей, разошедшихся и тут же сомкнувшихся вновь, будто створки гигантской, но трусливой тридакны, вывалился улыбающийся до ушей Алеша Пытнев, только что, как узнал позже Гинзбург, продвинутый из младших на ступеньку выше – славный, очень порядочный парнишка из глубинки, этакий самородок, талантливый, но недалекий, среди русских такое сплошь и рядом; Гинзбург ему симпатизировал. Растущий научный кадр прислушался к тому, что говорит Гинзбург, все мгновенно уразумел и перебил: «Михал Саныч, да вы же оказались в прекрасной компании! Сам Моисей сорок лет работал ведущим, а главным его так и не сделали! И что характерно, антисемиты в том совершенно не были повинны...»

Этот идиот думал, что он Гинзбурга утешил. Поддержал, так сказать, доброй шуткой. Будто такими вещами можно шутить.

Наверное, именно тогда Гинзбург окончательно понял: в этой стране ему не жить. Потому что даже самые симпатичные и вроде бы ни сном ни духом не зараженные черносотенством русские всегда будут видеть в евреях просто национальность – одну из многих, вроде калмыков, карел или каких-нибудь нганасан. И вести себя соответственно. Ни на волос не понимая, что творят, и не ведая сомнений. Эта страна была обречена на юдофобию.

Честно сделанное предложение – а спору нет, гость Розы Абрамовны сделал свое предложение максимально честно, даже аляповато честно, – требовало честного ответа.

– Видите ли, – негромко и неторопливо проговорил Гинзбург, словно разжевывая туповатому студенту элементарный материал, – может, я слишком щепетилен или тонкокож... Уж не знаю. Какой есть, такой есть. Но я совершенно не могу дышать в антисемитской стране.

Руфь, глядя в свою тарелку, глубоко втянула воздух носом. Она опасалась чего-то подобного, отметив, как меняется лицо Гинзбурга по мере того, как муж говорил, – но чтобы вот так... Ох, только бы Сема не сорвался... Ох, только бы Сима не ляпнула чего-нибудь!

Сима уставилась на Гинзбурга с таким изумлением, что у нее даже рот приоткрылся.

Тетя Роза брезгливо оттопырила нижнюю губу и откинулась на спинку стула, непроизвольно постаравшись отодвинуться от происходящего подальше.

Хладнокровнее всех отреагировал Кармаданов.

– Ну что вы, Михаил, – ответил он как ни в чем не бывало. – У нас полно людей, которые с евреев чуть ли не пушинки готовы сдувать.

И даже не понимает, что несет, подумал Гинзбург с горечью. Ведь это тоже антисемитизм. Он сказал фактически вот что. Или эти жиды – все сплошь смертельно больные, и им надо только поддакивать, чтобы не омрачать их последние часы и не огорчать на смертном одре. Или эти жиды – все сплошь буйные психи, и им надо только поддакивать, потому что они за первое же против шерсти сказанное слово укусят или кипятком плеснут, а им ничего не будет, ведь у них – справка из психдиспансера. Вот что значат его пушинки.

Я не псих, напомнил он себе, и я не при смерти.

– Не будем спорить о пустяках, – мягко одернул он Кармаданова. – Вам просто надо уяснить: то, что не антисемитизм для русского, вполне может оказаться антисемитизмом для еврея.

– Ну, это не бином Ньютона, – сказал Кармаданов. – Своя рубашка для всех ближе к телу.

Опять это их «для всех», подумал Гинзбург. Вот-вот. Ныне дикий тунгус. Убогий чухонец. Все меньшие братья, всем неведома общая польза, а мы, великий народ, простим им их маленькие слабости, будем их отечески любить и холить, наставлять на путь истинный, защищать, учить братству и брить в солдаты.

– Вероятно, именно уяснив этот факт, – сказал Гинзбург, – в России так полюбили сдирать со всех рубашки и наряжать в гимнастерки единого образца.

И тут грянул гром.

От смущения Сима вспыхнула, как маков цвет – но сдерживаться не стала.

– Дядя Миша! – звонко отчеканила она. – А если вам ни с того ни с сего на каждом шагу будут пенять, что евреи гоев за людей не считают? Вы небось ответите: спасибо за конструктивную критику, господа, мы исправимся? Нет, вы скажете: черносотенцы! Фашисты! А сами? Это разве честно? Разве справедливо? Какого ответа вы ждете?

Тишина ударила такая, что, если чуток поднапрячься, можно, наверное, было бы услышать, как далеко-далеко, на полстраны южнее, в Газе торопливо клепают очередной «кассам».

– Серафима! – почти выкрикнула Руфь. Лицо ее пошло красными пятнами.

Общее остолбенение разрушилось.

Тетя Роза покачала головой.

– Какая советская девочка у вас растет, – сказала она.

– Благодарю, – очень ровным голосом ответила Сима. – При всем желании вы не могли бы мне сказать ничего более приятного.

О господи, ошеломленно подумал Кармаданов. Вот же приехали. И как быстро-то, в пару реплик; икнуть не успели, и уже – привет.

А у дочери при слове «советский», наверное, кадры выкачанных из сети старых фильмов перед глазами плывут. Счастливое детство, пионерские зорьки среди колосющихся полей, и под вражьем огнем – бескорыстная нерушимая дружба... Но он сильно подозревал, что у доброй гостеприимной хлебосольной тети Розы то же самое сочетание звуков вызывает перед мысленным взором единственно Сталина в парадном мундире: погоны блещут, усы торчат, в одной руке истекающая кровью голова Михоэлса, в другой – подписанный приказ о депортации евреев в Сибирь, которого никто никогда не видел, но в который не верят одни антисемиты.

Конечно, ведь спокон веков было и, наверное, вовеки будет, потому что у человека так мозги устроены: наш миф – это священная спасительная истина, ее нужно любой ценой донести до заблудших людей, до всех и каждого, а то они ничего не понимают и, конечно, пропадут; а чужой миф – это кошмарное заблуждение, замешанное на подломе, корыстном обмане и всегда приводящее к кровавому подавлению несчастных инакомыслящих.

Охо-хо...

Гинзбург тяжело поднялся.

– Я, пожалуй, пойду, – сказал он.

Ужин завершился в молчании, и до самой ночи никто и словом не обмолвился о случившемся кремневым ударе с искрой; хозяйка была ласкова с Симой, как никогда, а девчонка ходила шелковая, тише воды, ниже травы, и отвечала только: «Да, тетя Роза...», «Хорошо, тетя Роза...», «Спасибо, тетя Роза, тогда раба...»

И лишь когда все улеглись, Кармаданов, всегда заходивший к Симе пожелать спокойной ночи, присел рядом с ее раскладушкой и вместо обычных слов негромко сказал:

– Никогда больше так не выступай.

– Почему? – так же вполголоса спросила она.

– Потому что...

Он запнулся. Нельзя было ей сейчас не объяснить. Но для этого сначала надо было четко понять самому.

Стало тихо. Смутно громоздились стеллажи библиотеки покойного мужа тети Розы.

– Знаешь... – мягко начал Кармаданов. Сима с подушки глядела ему в лицо неотрывно, не мигая. – Есть во Вселенной такие черные дыры... Ты знаешь, конечно. Если туда что-то попадает, вырваться уже не может. Хоть надорвись, хоть на мыло изойди. Добрый ты, злой, честный, подлый – дыре все равно. Между людьми есть похожие... черные мертвые зоны. Никогда наперед не знаешь, где зона начинается и где кончается, потому что трудно сразу сообразить, где кого ранили и у кого что болит. Но соображать надо обязательно, потому что... Потому что оттуда, из этой мертвой зоны, ни единый звук, ни единый лучик света не в состоянии прорваться. Можно сидеть вот так рядышком – но к тебе от меня или от меня к тебе не дойдет ничего. Просто ничего. А если дойдет – совсем не то, что от меня ушло. Совсем не то, что я послал. Черное превратится в белое, «да» в «нет»... Это всегда бывает, когда у одного болит одно, а у другого – другое. Люди понимают друг друга, только когда говорят о том, что у них одинаково болит, либо о том, что у них одинаково НЕ болит. В мертвую зону нельзя лезть, поняла? Ничего не добьешься, только прибавишь боли. А ее и так в мире видимо-невидимо.

Сима помолчала. Кармаданов думал, что она, когда созреет наконец нарушить молчание, скажет что-нибудь детское, звонкое, заведомо правильное – например: «Но ведь он первый начал!» А Сима спросила:

– Как же тогда жить?

Кармаданов через силу улыбнулся.

– Аккуратно, – сказал он. – Применяясь к законам природы. Ты ведь не отчаиваешься оттого, что ходить можно только по земле, а по воде – нельзя? По воде, чтобы не утонуть, надо плавать, и тут нет поводов для отчаяния.

Она помедлила, но он чувствовал, что разговор не окончен, и еще подождал. И дождался.

– А как ты думаешь, па... Между русскими и евреями эта зона увеличивается или уменьшается?

У Кармаданова перехватило горло.

Порой ему казалось, что зона увеличивается; тогда от безнадежности и тоски ему хотелось выть.

– Не знаю, дочка, – сказал он. – Поживем – увидим.

Она кивнула понимающе, как взрослая.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Он осторожно прилег рядом с Руфью. Впервые после ужина они остались вдвоем. Он соскучился по ней за этот вечер так, будто они не виделись с позапрошлой зимы. Жена лежала вытянувшись, с закрытыми глазами – но он сразу почувствовал: она не спит. От нее веяло напряжением. Отчаянным, на грани паники, ожиданием. Она была точно одна сплошная тугая судорога. Он приподнялся на локте, осторожно коснулся губами ее нежной шеи. Она не шевельнулась, но у нее пресеклось дыхание. Он коснулся ее шеи губами еще раз. И тогда она прильнула к нему так, словно им вновь стало по двадцать лет.

Он был всемогущ, всемогущ, как создатель и господин миров. Она была такой податливой, покорной и бездонной, какой в детстве кажется будущая жизнь. И когда полыхнул наконец живительный выстрел, это было сродни радуге, что сшила воедино гонимые ветром облака. Все в мире черные мертвые зоны насытились ослепительным пульсирующим сиянием, лопнули, и их мелким мусором смело на край Вселенной.

– Я так испугалась...

– Я так растерялся...

– Я подумала, вдруг ты решишь, будто я тоже не могу у нас дышать...

– Я подумал, вдруг ты из-за меня остаешься там и мучаешься...

А назавтра их то ли осчастливили, то ли выставили под безусловно благовидным предлогом. Через кого-то из бесчисленных знакомых тетя Роза во мгновение ока купила им в подарок семидневное пребывание в Эйлате – не в «Царице Савской», конечно, много скромнее, но для Кармадановых так было и лучше, они не любили роскоши и не были к ней привычны, ощущая себя тем более неловко, чем гуще сверкали апартаменты. «Надо же вам поплавать в настоящем теплом море, – сказала тетя Роза. – Сколько можно людей пугать на здешнем пляже. Вы же не шведы в отпуске, а родственники почти что дома. И новые места посмотрите, и своим кругом отдохнете, а то что вам каждый вечер на старуху любоваться...»

В общем, сказано все было исключительно душевно и заботливо – и, быть может, зря Кармаданов не мог отделаться от молчаливого подозрения, что просто-напросто им после инцидента решили дать время малость охолонуть.

Так случился Эйлат.

И на четвертый день их сибаритства в этом маленьком густо заселенном Эдеме, стояло Кармадановым взяться за вилки, в ресторанный зал, где завтракали немногочисленные разоспавшиеся чуть ли не до обеда постояльцы, вошел и замер у порога, озираясь, Гинзбург – в белых штанах и белой рубашке навывпуск, расстегнутой до половины волосатой груди, в модных солнцезащитных очках, такой пляжный, что дальше некуда. Кармаданов сразу отложил вилку; в животе у него екнуло, а в голове мелькнуло: ага, передумал. Иначе зачем бы? Он приветственно помахал Гинзбургу рукой, тот их заметил и решительно пошел между столиками. Руфь и Сима как-то одинаково подобрались.

– Доброе утро.

– Доброе утро!

– Бокэр тов, дядя Миша. Хаим авра нсиатха бшалом?

– Батюшки мои! Отлично доехал, Сима, отлично, спасибо... Но какие успехи в иврите у советских детей! Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут...

– Дядя Миша! Вы теперь меня навечно зачислите в списки части?

В общем, встреча сотворилась лучше некуда – будто старые друзья, лишь после ужина расставшиеся и уже малость соскучившиеся по веселому общему трепу, с утра вновь уселись за один столик.

– Роза Абрамовна любезно назвала мне гостиницу. Я так и думал, что застану вас за завтраком... Вы не против, если я на полдня составлю вам компанию на пляже?

– Напротив, только рады будем, – вставила Руфь.

– А чем обязаны? – не утерпел Кармаданов.

– Да так... Свободное утро, суббота. Погода прекрасная. Дай, думаю, побарствую в хорошем обществе. Встал до рассвета да и поехал с ветерком. Езды, правда, почти шесть часов, но иногда не грех себе позволить.

За завтраком и по дороге к пляжу они беседовали степенно, светски. Посетили ли океанариум? А то как же! А на лодке с прозрачным дном плавали, рифы смотрели? Плавали, но, по правде сказать, мало что увидели. А съездили в Тимна-парк? Еще бы, потрясающе! А на гору Соломона? Еще нет, собираемся завтра. А в Петру на экскурсию есть планы? Нет, к сожалению, не успеем. Остались считанные дни – и в обратный путь. Уже не хочется суесться, подумали-подумали и решили тупо пляжиться. А почему такой короткий отпуск? По многим причинам. Летом не удалось, а сейчас – Сима и так неделю школы пропускает, придется объясняться, нагонять. Часть поездки подгадали на осенние каникулы, но вот сейчас все приличные дети уже учатся – а мы тут баклуши бьем. А давайте по фрешу? А давайте! Какой на вас смотрит? Киви, гранат? Знаете, мы, если честно сказать, уже все перепробовали и коллективно поняли, что лучше морковного нет. О, морковный патриотизм! Ну ведь это все же не квасной, правда?

И вот они отдыхали вместе уже третий час.

Купалась Сима минут двадцать, так что Руфь, приподнявшись на локте и приставив ко лбу ладонь, принялась высматривать дочкину голову в воде – не столько тревожась всерьез, сколько потому, что так надо. Идише мама. Тут никто не забалует: ни дети, ни взрослые. Когда Сима, наплескавшись и, похоже, заскучав в одиночестве, нога за ногу двинулась назад, Руфь сразу заметила ее попятное движение и успокоенно легла вновь.

Один из парней, видимо, обративший внимание, на каком языке переговариваются соседи, не выдержал и, когда дочка проходила мимо, позвал на безупречном, лишь интонационно чуть странном русском:

– Девушка! А девушка!

Сима обернулась – вполоборота, небрежно и свысока, словно маленькая малкат Сва:

– А?

– Вы из России?

– Да.

– Русская?

– А что, не видно?

– Честно говоря, нет, вы на нашу больше похожи. Давно оттуда?

– Нет.

– И как там?

– Хорошо. Медведи по улицам ходят, – дружелюбно поведала она.

Парень то ли и впрямь не расслышал, то ли решил продемонстрировать остроумие, а вдобавок – знание российской жизни и российского сленга:

– Медведь по улицам ходит? – ахнул он, звучно шлепнув себя ладонями по голым коленям. – Да он храбрец! А кого же возят в членовозах?

Сима вся повернулась к нему.

– Учителей, – откровенно сказала она. – Вот у меня мама литературу в школе преподает, так ей положен «майбах». И шофер каждый день спрашивает, к какому уроку завтра подавать...

Гинзбург спустил ноги на песок, сел и повернулся к Кармаданову.

– Жарконько. Пожалуй, тоже пора освежиться, – сказал он. – Не составите компанию, Семен?

Кармаданов подумал: вот оно. Похоже, Гинзбург отчего-то хотел говорить наедине, и что тут может быть лучше купания вдвоем? Правда, сейчас Кармаданов лучше бы послушал беседу девочки с новобранцами. Они уже трепались как старые друзья, будто всю жизнь в одном классе проучились, и сверкали друг другу улыбками. «Вон, видите, в конце набережной экскаватор? – спрашивал другой парень, не тот, что заговорил первым, и показывал вдаль: там действительно велись какие-то работы (может, гостиничная канализация лопнула?), и тяжелый механизм периодически дергал вывернутым в небо блестящим жилистым локтем и вываливал в воздух черные комья выхлопов. – Это я там вчера два шекеля потерял. Теперь ищут...» – «А как же шабат?» – со знанием дела спрашивала Сима. «Так два шекеля же!»

– С удовольствием, – ответил Кармаданов Гинзбургу и резво встал. Смеющаяся Сима на миг обернулась к нему: все в порядке? Кармаданов сделал ей глазами: все в порядке, веселись.

– Тесновато здесь, – пробормотал он, когда они с Гинзбургом плечом к плечу подошли к воде. – Боны вдоль всего пляжа, да еще так близко от берега... Не расплаваешься особо.

– А мы поднырнем, – заговорщически ответил Гинзбург, пробуя воду ногой. – Совсем теплая.

– Паники не будет? Спасать нас не начнут?

– Не думаю. Если бы подштармливало – другое дело, но сейчас...

– Да, море как зеркало.

Они вошли в это жидкое зеркало; оно обняло их сверкающими бликами и понесло. В Красном море удивительная вода. Она еще не выпихивает тебя хамски, как в Мертвом, домкратом в пуп, не пуская погрузить ни локти, ни пятки; но, кажется, надо лишь легонько шевельнуть плавниками – и уже скользишь. И отчетливая твоя лягушачья тень на песчаном дне скользит за тобой, окруженная шевелящейся путаницей медленно расходящихся светлых полос, мало-помалу отставая, погружаясь все глубже и теряясь в сумраке, выползающем из глубины.

– Жутко подумать, но у нас там уже первый снег на улицах киснет, – сказал Кармаданов.

– Родина, – с толикой сарказма сказал Гинзбург.

– Это точно, – мирно ответил Кармаданов. Помедлил. – Сказать по правде, целый год без снега – по-моему, тоже невыносимо.

– Я первые годы страшно скучал, – вдруг признался Гинзбург.

– По снегу?

– И по снегу тоже.

Лавируя между головами и телами, они неторопливо оставили позади полощущихся у берега пожилых, потом миновали несколько парочек, что миловались в плавь, сплетаясь в невесомости, в жидком синем сиянии, и впереди остались лишь нарезающие стометровки отрешенные, с неменяемыми лицами борцы за здоровье да плавучая полоса ограждения. Гинзбург залихватски подмигнул Кармаданову:

– Вперед?

– В Иорданию не угодим? – в тон ему спросил Кармаданов.

– Ну, не до такой же степени... – бросил Гинзбург и надал. Держался в воде он прекрасно, даром что был уже совершенно не первой молодости. Кармаданов едва поспевал за ним. Впрочем, подумал он, имея возможность залезать в такое море едва ли не весь год, грех не плавать, как Ихтиандр. Это надо быть уже совершенным лентяем и лежебокой. Если бы мне довелось тут жить, невольно прикинул он на себя, я бы из моря просто не вылезал. Не сбавляя темпа, Гинзбург приблизился к ограждению и легко нырнул – только белые пятки

слепяще оттолкнулись от солнца, и светлое пятно, отчетливо видимое в кристальной воде, стремглав унеслось в глубину и вперед. Кармаданов набрал воздуха побольше и, постаравшись не ударить лицом в грязь, ударил им в Красное море. Под водой он сразу открыл глаза. В синем сумраке впереди туманный белесый Гинзбург пер в открытое море, как афалина. Что-то он чересчур раздухарился, подумал Кармаданов, и тут Гинзбург пошел вверх.

Они отплыли не слишком далеко. Вскоре Гинзбург завис, медленно шевеля ногами и отфыркиваясь. Кармаданов, немного задыхаясь, догнал Гинзбурга и тоже завис; ноги вкрадчиво потянули его в глубину и поставили в воде торчком. Набережная, уставленная громадами отелей и украшенная зеленью деревьев, как приправой к фирменному блюду еврейской кухни, была отсюда видна уже вся.

– Сидячий образ жизни, – укоризненно сказал Гинзбург.

– Он, окаянный, – ответил Кармаданов и высморкался.

– Нельзя без нагрузки, – сказал Гинзбург. – При снеге я бегал на лыжах.

– Дочка у меня тоже обожает лыжи, – мирно ответил Кармаданов. – Правда, весной это увлечение чуть не вышло ей боком.

Если Гинзбург заинтересуется, что там у нас весной стряслось, подумал он – тогда будет уже вообще непонятно, на кой ляд мы тащились на середину моря.

Гинзбург не заинтересовался.

– Вы, наверное, теряетесь в догадках, за каким бесом я вытащил вас чуть ли не на середину моря, – сказал он.

Кармаданов улыбнулся.

– Грешным делом, – сказал он, – я заподозрил, что вы, возможно, решили все же связаться с Алдошиным и что-то ему передать. Но рассказать мне об этом хотите сугубо тет-а-тет, потому что боитесь Серафимы.

Гинзбург от души рассмеялся.

– Вы почти угадали. Ваша страстная девочка будет вить из мужчин веревки. Мужчины будут у нее по струнке ходить. Я, во всяком случае, готов. У нее уже есть молодой человек?

– Да вроде нет еще...

Гинзбург с сомнением повел мокрой головой. На лысом черепе его бриллиантами сверкнули капли.

– Я действительно хочу кое-что через вас передать, Семен, – серьезно сказал Гинзбург. – Алдошину или кому-то еще, это уже вам решать.

– Начало многообещающее, – сказал Кармаданов и с силой оттолкнулся ногами в сторону, меняя положение, чтобы солнце с неба и из моря не било ему в глаза – в триумфальном двойном сиянии он совершенно не видел лица Гинзбурга.

– Я не передумал и не мог передумать, – негромко сказал Гинзбург, глядя мимо Кармаданова. Кармаданов обернулся.

Неподалеку от них, мягко рокоча, проплывал, выходя в море на очередной часовой круиз, переполненный туристами кораблик с прозрачным дном; люди на палубе – их было полно наверху, рифы, на которые надлежало любоваться из трюма, еще не начались – припали к борту, глядя на две головы, бесшабашно болтающиеся на траверзе. Кармаданов помахал им рукой, и по меньшей мере два десятка человек с мимолетным курортным дружелюбием наперебой ответили ему тем же. Кораблик миновал пловцов и стал удаляться, неутомимо разворачивая за собой веер бурунов перемолотой воды; через пару минут нас покачает изрядно, мельком подумал Кармаданов.

– Не мог, – решительно повторил Гинзбург. – Все, что я сказал тогда вечером... – запнулся. – Ни от единого слова не отказываюсь. Но... Это не единственная причина. И я чувствовал бы себя не до конца честным с вами и не вполне порядочным, если бы ее не обозначил.

– Слушаю вас, – серьезно сказал Кармаданов. И тут накатило с шумом и шипением пузырьков; мягко подбросило, взболтало, опустило. Мягко подбросило снова.

– Спи, моя радость, усни, – сказал Кармаданов, когда зыбь стала стихать. – Прямо как в колыбели, да?

– Да, – ответил Гинзбург. – Или в шампанском. Так вот. Примерно за неделю до вашего приезда ко мне обратились... как бы это сказать по-русски... компетентные товарищи. Правда, они меня не к себе вызвали, как заведено в России, а вежливо договорились о встрече в моем любимом кафе... Честно сказать, с тех пор мне пока не хочется туда заходить. Один компетентный товарищ, возрастом и, вероятно, чином постарше, слегка рассказал мне о корпорации «Полдень» – я, простите великодушно, до этого о ней даже не слышал. Коротенько поведав, как и в каких количествах вы там тщитесь переманивать уехавших специалистов обратно, он предположил, что и меня не минет чаша сия. Тогда компетентный товарищ помладше уже без обиняков мне пояснил, что если это и впрямь случится, их ведомство было бы весьма заинтересовано в том, чтобы я принял предложение. А приняв его и заняв подобающее место в новой русской программе, счел бы возможным информировать о том, что именно вы там вытворяете.

Он умолк. Зыбь укатилась, и они висели под радостными лучами морского солнцепека, в ласковой стеклянной толще, неподвижно. Только иногда шевелили ногами, сохраняя равновесие.

– Вы не едете, чтобы не пришлось шпионить? – внезапно осипнув, спросил Кармаданов.

Облитое солнцем лицо Гинзбурга досадливо дернулось.

– Тут вам не там, – жестко ответил он. – Если бы я захотел поехать и не захотел шпионить, меня бы никто не заставил. Я бы поехал, и я бы не шпионил. Я не еду, потому что не хочу. Дело не во мне. Они знали, что вы сюда приедете и обратитесь ко мне, вот в чем дело. Я уверен – знали. Семен, у вас там крот.

– Крот?

– Вы что, детективов не читаете? Информатор. Шпион. Трепач. Не знаю. Никаких подробностей и никаких доказательств у меня нет. Но я должен был вам это рассказать. Потому что... – он помедлил, подбирая слово, но так и не подобрал. – Потому что. Все, давайте плавать наконец. А то вы решите, будто я тащил вас в такую даль только из конспирации.

А то нет, засомневался Кармаданов, но смолчал.

Больше они до самого берега не разговаривали. Гинзбург, видимо, сказал все, что хотел, а светская беседа его не интересовала. А Кармаданов растерялся. Дно уже подставилось под ноги, потом оба они уже вышли с блаженно накупавшимся видом на песок; только тогда Кармаданов неловко сказал:

– Спасибо.

– За что? – удивился Гинзбург, картинно задрал брежневские брови. Кармаданов чуть улыбнулся.

– За урок глубокого ныряния, – сказал он.

– А, – ответил Гинзбург. – Всегда пожалуйста.

И как-то получилось, что они пожали друг другу руки. Со стороны это выглядело потешно – посреди пекущегося на солнце пляжа двое вылезших из моря мокрых мужиков в плавках обмениваются крепким рукопожатием, будто вот прямо сейчас то ли заключили фантастически выгодную для обоих сделку, то ли поклялись бить фашистских гадов до последней капли крови. Но мокрые мужики не видели себя со стороны.

А когда Кармадановы вернулись в «Полдень», зябко мокнувший под зарядами то дождливого снега, то сдобренного сырыми снежными хлопьями дождя, навалились дела, и

встреча с Алдошиным подоспела лишь через неделю. К тому времени все окончательно затуманилось. Кармаданов мучился, не зная, что сказать и говорить ли вообще – рассказ Гинзбурга был так невнятен, так невесом... И он поведал лишь, что Гинзбург по каким-то своим соображениям отклонил предложение и вернуться не захотел – утешая себя тем, что расписывать Алдошину эти шпионские страсти совершенно незачем; они – вовсе не ученое дело, ученому надо знать только, приедет Гинзбург или нет, остальное надо излагать совсем иным людям и в ином месте.

И некоторое время Кармаданов тешил себя мыслью, что вот-вот наберется духу, откроит свободный вечерок и обратится к этим иным людям, и все им поведаст максимально подробно – но водоворот дел не оставлял ни крошки пустого времени, да и идти было, положила руку на сердце, и противно, и неловко; и рассказ Гинзбурга тихо угасал в памяти вместе с термоядерным солнцем, слепящим морским простором и листьями пальм, упруго мельтешащими на ветру. Его все плотней хоронила растущая холодная груда промозглых дней, сыплющихся из предстоящего в отжитое, точно песок в песочных часах. Скоро стало казаться, что и сказать-то ну совершенно нечего. Уехавший из страны ученый, намаевшийся, наверное, еще в советское время в отказниках, не может не быть сдвинут на происках всяких там разведок и контрразведок, на кознях компетентных товарищей, и если вычесть его ни на чем не основанную уверенность, что останется? Только то, что израильские спецслужбы отследили попытки Алдошинской группы собрать в единый умный кулак всех разбежавшихся (а из этих попыток и секрета никто не делал), а потом вполне логично заключили, что и к Гинзбургу могут подъехать, и предупредили его на такой случай. Дело житейское. Оно вполне могло случиться безо всяких измен и утечек. На то и щука, чтобы карась. На то и разведки, чтобы. Да Кармаданова бы просто высмеяли, заявись он с такой информацией к серьезным людям. Стоило бы двери за ним закрыться, над ним принялись бы хохотать в голос: не наигрался взрослый дядя в шпионские игры! Видно, слишком усердно читал в пионерском детстве «Библиотечку военных приключений»...

А тут глядь – и весна накатила, и по весне стало совсем не до отвлеченных материй. Слава богу, думал Кармаданов, что Гинзбург не купился на мои посулы. Хорош бы я был. Как бы я ему в глаза смотрел, думал он, с каждой неделей все больше убеждаясь, что давние его опасения, о которых он мало-помалу и думать забыл, начинают все ж таки оправдываться, и финансирование проекта «Полдень» дышит на ладан.

## 2

Она долго молчала, и он не торопил ее с ответом, понимая, что дочь Шигабутдинова не станет длить паузу из кокетства или, например, от безразличия; если молчит, стало быть, честно старается понять себя или поточней выбрать слова. Потом она произнесла виновато:

– Нет. Я не могу.

– Зарина, послушай. Твой отец погиб почти год назад, и вот уже полгода...

– Не нужно мне все это рассказывать, пожалуйста, я сама все помню. Ты очень хороший. Добрый. Ты маму и меня так поддержал... Я тебя люблю. Но я не могу.

– Заринка, это же нелепо. Молись ты как хочешь, я разве собираюсь тебе мешать? Да никогда! Святое дело, я ж понимаю! Хиджаб тебе сам буду повязывать. Но и я...

– Если б ты был хотя бы нормальный православный! Человек писания! Но по шариату ты все равно что язычник. Многобожник. Это хуже всего.

– Опомнись. Двадцать первый век на дворе.

Она запнулась, а потом робко, будто сама удивляясь собственной дерзости, попросила:

– Прими ислам.

У него на миг язык отнялся. От полной беспомощности он немощно попытался превратить все в шутку, сбить пафос – и натужно процитировал «Бриллиантовую руку»:

– Нет, уж лучше вы к нам...

Она даже не поняла. Он сообразил, что сморозил глупость. Возможно, пошлость. С тем же успехом можно было тциться наладить контакт с жителями какой-нибудь Шестьдесят первой Лебеда, выстреливая им радиотелескопами анекдоты про Василь Иваныча.

– Зарина, но твой отец...

– Я не буду обсуждать его поступки, – глухо сказала она и отвернулась. – Я никогда не обсуждала их и никогда не стану. Он – мой отец. Но перед Всевышним каждый отвечает за свой выбор сам. Мне тоже надо будет отвечать, и за отца там не спрячешься.

Он не знал, что еще сказать. Что тут вообще можно было сказать?

– Мусульманки очень верные, – тихо проговорила она и вскинула на него умоляющий взгляд влажных глаз. – Я буду так любить тебя... всю жизнь. Буду тебе подмогой и опорой. Ты будешь счастлив... – Она осеклась, потом горячо продолжила: – Я рожу тебе много детей. Они станут тебя уважать и слушаться. Чем старше ты будешь, тем больше будешь им нужен. Ты станешь седой и дряхлый, а они будут заботиться о тебе наперебой, потому что это правильно перед Аллахом. Знаешь... У вас, у русских, пока вы не стали язычниками, тоже было так. Даже поговорку сложили: дурень хвалится красивой женой, умный – старым батюшкой. Давай, а?

Мороз драл по коже. Четверть часа назад, начиная этот разговор – а не начать его было уже невозможно, – он и не подозревал, что окажется на краю такой бездны. Прыгнуть? А может, прыгнуть?

Расстлать коврик в мечети и, раскорячившись, ритмично бить лбом в пол, бубня «Аллах акбар»?

Бред...

Почему всегда уступает он?

Да что за бред! Он любит, она любит – и отказываться от этого из-за такой ерунды?

Она-то без колебаний отказывается из-за такой ерунды!

А он – не из-за ерунды? Подумаешь, коврик...

Но в глубине души он смутно ощущал, что это не ерунда, далеко не ерунда; и, быть может, именно из-за вроде бы смехотворной для посторонних, архаичной, но от того еще более ярой преданности ерунде, каждый – своей, и она, и он еще и сохраняют способность

вот так, до головокружения любить и звать к себе через пропасть. И стоит от нее, от ерунды, отказаться, перейти грань – тут-то и станет рукой подать до превращения в обезьян, что вертят голыми задницами в телевизоре и почитают это за славу, честь, сексуальный триумф и жизненный успех...

Он не смог бы этого поймать, как связную мысль – но что-то чувствовал, и потому лишь молча поцеловал ей руку.

– Сейчас зареву, – низким, ровным голосом сказала она, все поняв. – Уходи скорее. Пожалуйста, скорее уходи.

И он ушел.

Может быть, он поспешил. Может, на сей раз не к добру сработала привычка не обижать и не изводить докучливой настырностью. Он всегда жил так: ведь он русский богатырь, он сильнее – стало быть, он и уступит. Ну и где теперь его сила?

И – неужели уступать даже в этом? Даже в этом, и опять – он?

А стоило ему остаться одному, обида перевесила все. Лицо горело, как от пощечин. Да ее слова и были пощечинами. С каждой минутой унижительность произошедшего жгла все сильнее, будто под череп, в грудь, в глотку цедилась едкая щелочь. Она его попросту прогнала. После всего! Из-за белиберды!

Да не белиберда это, уже в открытую закричал я.

Но от бешенства он ничего не слышал.

Что же во мне не так, испуганно и яростно думал он, шагая по вечерней Дмитровке – воротник поднят, как у дрянного шпиона, руки в карманах. Подошвы расплескивали снежную слизь; в мокром асфальте, как языки жидкого пламени, плескались отражения реклам. Он шел по мокрому огню. Что он за проклятый такой? Для него никто никогда ничем не жертвовал. Он всегда всем коврик для ног. Наташка... Уж казалось бы: как все хорошо тогда сложилось, немудряще и по-доброму – а вот свинтила к этому занюханному гению, который, как в старой песенке: то ли гений он, а то ли нет еще. Теперь эта фанатичка... Он подумал так, и сам испугался той радикальной трансформации себя, что сделала его способным подумать так. И старательно повторил, будто ставя на случившейся перемене печать: фанатичка. Но нет, будь он ей важен, и фанатизм, как всегда бывает с фанатизмом, вывернулся бы наизнанку – для него и ради него... Я такой неяркий, с ненавистью подумал он. Вечно боюсь обидеть, показаться эгоистом, настоять на своем. А таких никогда не любят. Ради таких никогда не жертвуют – наоборот, таких приносят в жертву, потому что у них на лбу написано: от меня никакого проку иного быть не может, кроме как принести меня в какую-нибудь жертву. Кто успеет первый – тому и конфетка. И если втоптать меня в грязь, то не приходится опасаться ответных пакостей, ведь у меня совесть, я любого готов понять... А потому подай, Корховой, принеси, Корховой. Пока нужен – ладно, так и быть, почешем за ухом. Надобность отпала – все, ты неинтересный. Ничего не можешь. Никогда не берешь того, что идет в руки. И уж давно – не удерживаешь того, что в руках. Никогда не ударишь кулаком по столу без того, чтобы потом сто раз виновато и униженно не попросить прощения за резкость. Кто будет такого уважать, кто будет бояться потерять такого? Никто. Ух, какая тоска.

Ненависть поднималась в нем откуда-то от мокрого, горящего холодом асфальта и плющила сердце, как корабль во льдах. Трудно было дышать.

Справа Петровский переулок, потом слева Козицкий переулок... Впереди уже виден скверик, где торчит распятый на гитаре каменный Высоцкий.

Вот уж кто с окружающими не церемонился...

Потому и великий.

С детства знакомые места. Вот тут был магазинчик, где в пору позднесоветского дефицита, когда улица еще называлась Пушкинской, стояли в свободной продаже пишущие машинки и всякие к ним причиндалы. Он, пятиклассник, приходил сюда и тихо благоговел на

хлипкие югославские «де люкс», на «ятрани», неуклюжие и тяжелые, будто камнедробилки; молился на коробочки с красящей лентой и пузырьчатки с корректирующей белой замазкой и мечтал: вот куплю пишущую машинку и буду писать... И что он написал? Ничего. Кто знает такого журналиста? Никто. Что проку, что он всегда старался сочинять аккуратно, взвешенно, бережно, так же, как старался и жить – чтобы никого не оскорбить попусту, чтобы читатели от его статей не стервенели, а постигали? Что толку, что ни разу он слова не написал непроверенного? Знают и помнят тех, кто помогает звереть. Кто врет жгуче, тот и остается в памяти. Кто будоражит самое хамское и нахрапистое, оказывается влиятельным. Никто не хочет постижений, все хотят лишь оправданий своей злобе. Чтобы она из будничной, бытовой превращалась в возвышенную и благородную. Все будут почитать за властителя дум и на руках носить того, кто доказательно скажет каждому: твоя жестокость – лишь ответ на чужую, начал не ты, и теперь ты вправе. Только за такое и платят по-настоящему, а за все иное – по остаточному принципу.

Да, это еще один штришок. Он никогда не полагал деньги главным. Радовался, конечно, если позолотят ручку за написанное от души – но никогда даже в мыслях не держал писать опричь души ради того, чтобы позолотили ручку.

Кому нужен такой дурак? Никому.

Ни разу с той поры, как он завязал, не хотелось ему надраться так, как захотелось в тот вечер.

Жизнь, ошалев от обилия вдруг вспыхнувших по сторонам странных возможностей, нависла над многовариантной развилкой и на миг заколебалась в неустойчивом равновесии – но, не изменившись, поволоклась наторенной колеей. Осталась прежней. А значит – обрушилась внутрь себя, как выгоревшая звезда.

Но жизнь не может стать ни белым карликом, ни сверхновой – она просто превращается в собственный муляж.

Корховой вошел в метро.

А через несколько дней у него состоялся еще один важный разговор. Корховой ждал его давно и немало старался, чтобы разговор этот произошел, – и вот наконец дождался.

Сразу царапнуло, что его потенциальный работодатель, вершитель судьбы, организатор, менеджер – лет на десять моложе совсем еще даже не старого Корхового. Ушлый развязный щенок.

– Известно, какое внимание уделяется сейчас проблемам подъема отечественной науки. А ведь вы, Степан Антонович, всю жизнь писали на темы естествознания и о тех, кто естествознанием занят. Не обидно сейчас оказаться в стороне от основного процесса?

– Да я не считаю, что я в стороне. Вопрос в том, что считать основным...

– Ох уж эта казуистика! Ее так любят пожилые... Заболтают, знаете, любое дело – а потом руками разводят: почему денег нет... Основной процесс – это, знаете, тот, на который тратятся основные средства. Все очень просто и однозначно.

– Может быть, – угрюмо сказал Корховой, – вы перейдете ближе к делу?

– С удовольствием. Мне просто показалось полезным сначала обозначить подходы... Мы задумали на нашем канале цикл передач. Вдохновляющих, смелых, полных загадок и недоговоренностей, будоражащих, знаете, мысль. Хочется поднять материалы обо всех заброшенных исследованиях восьмидесятых-девяностых. Не доведенных до конца, забытых, проваленных по каким-либо венаучным причинам. Под таким, знаете, соусом, что все бы давно уже было, если бы хватило воли. Политической, финансовой...

– Простите, не очень понял. Было бы «все» – что?

– Ну, как вам сказать. Вы же специалист. Вам и судить. Подытожьте все слухи, все обрывочные сведения, которые время от времени просачивались... А может, и что-то новенькое отыщется, это бы вообще стопудово. Надо же как-то подсаживать молодежь на мысли!

Патриотизм пробуждать, веру в интеллектуальный потенциал народа... Вам бы мы доверили подбор материала и написание сценариев. Вчерне. Деньги, разумеется, соответственные. На это, повторяю, страна сейчас средств не жалеет. Значит, нельзя уклоняться. Нельзя, знаете, упустить счастлившую возможность сказать свое веское слово. Сквозная тема такая: мы бы уже все давно на фиг открыли, если б не взятки-блядки, неверие либерастов в силы русского мозга, интриги и склоки академических маразматиков, коварный враг... Ну, вы сами понимаете.

– Простите, но подобные сюжеты уже бывали...

– Да. Такие, знаете, любительские. От случая к случаю. Им не хватало размаха и последовательности. Мы хотим сформировать целую линейку передач. Тектоническое оружие, антигравитация, управление геномами... Только без мистики, пожалуйста, это другой канал, а все остальное – ваше, на сколько фантазии хватит.

– Фантазии?

– Ну, разумеется, аргументированной фантазии. Романтика, знаете, науки, рукотворные чудеса, невероятные прозрения гениев... Я даже конкретных тем предлагать сейчас не буду, вы за пять минут лучше меня набросаете примерный план хоть на десять, хоть на пятнадцать передач. Я же знаю ваши возможности, уважаемый Степан Антонович. Вы один из лучших в своей области. Не буду вам, знаете, неуместно льстить и называть знаменитым... Понятно, что, работая по проблемам науки, в Рашке знаменитым не станешь – антигравитация не бойфренды Пугачевой, массовый читатель на антигравитацию не поведется, но... Ваша добросовестность известна всем, кто мало-мальски интересуется высокими материями. Вот теперь вы с присущей вам, знаете, добросовестностью максимально аргументированно и убедительно станете рассказывать о победах нашей большой науки. Да, не свершившихся – но вот вам, дескать, юные энтузиасты, и карты в руки, вперед! Я тут полистал ваши замечательные статьи и вижу – эти темы вам близки.

– Антигравитация, значит?

– Она, родимая! Вещь нужная, и, согласитесь, само словцо нехило торкает.

– А может, снимем про то, что Тунгусский метеорит был побочным результатом экспериментов не какого-то там Теслы, а нашего Попова?

Менеджер коротко поразмыслил.

– Мысль интересная, но, пожалуй, перебор. Слишком, знаете, давно дело было, кто сейчас про Попова помнит... А что, метеорит действительно Тесла запустил?

На какое-то время Корховой потерял дар речи.

– Нет, – смиренно ответил он потом. – Я просто пошутил.

– А вот шутить не надо, дело нешуточное. Знаете, раньше говорили – страна ждет от вас подвига!

– Подождите... – Корховой растерялся. Такого уровня он все-таки не ожидал. Потом его прорвало: – Какие победы науки? Послушайте, наукой могут заниматься только те, кто превыше всего на свете хочет сначала просто что-то понять. Не суметь, а понять! Не «Хочу все сдать», а «Хочу все знать»! Как Архимед под мечом захватчика: не тронь мои чертежи! Меч могущественней чертежа, но для Архимеда чертеж был важнее меча! Вы что, думаете, людей можно вдохновить чертить чертежи, выдумывая какие-то мифические мечи?

– Ну-ну, – снисходительно сказал менеджер.

– Что ну-ну?

– Не та стилистика. Архимед, мечи... Архаичная белиберда. Проще надо.

Корховой глубоко вздохнул и постарался взять себя в руки.

– Поймите, я не фанатик и не утверждаю, что только в поиске истины смысл жизни. Но у того, кто занимается наукой, это так. Наука же не обещает и не творит чудес! Чудеса обещают вруны и жулики! Ученый не приказывает природе, а познает ее волю. Не пове-

левет ветрами, а ищет, где поставить паруса. А вдохновлять выдуманными, высосанными из пальца феерическими достижениями – нелепость, вы породите только спекулянтов, они будут гнаться не за знанием, а за тем, чтобы выкачать побольше денег из казны, точь-в-точь...

Он осекся.

Он поймал себя на том, что едва не сказал: «точь-в-точь, как вы сами».

Наверное, он осекся поздно. Наверное, продолжение фразы было слишком очевидным, и менеджер его угадал.

Удивительная вещь – барская улыбка. Все так же прищурены глаза, так же раздвинуты губы, так же зубы сверкают; но в одно мгновение насыщение всех этих мимических формальностей становится разительно иным – из приветливого угрожающим, из добродушного хищным. Хотя по всем признакам – ничего не произошло, человек как улыбался, так и улыбается. Но где-то щелкнул переключатель, и под стеклянной маской зажглась лампа другого цвета.

– Знаете, уважаемый Степан Антонович, – задушевно сказал менеджер. – Вам же и карты в руки. Делайте престижным поиск истины, а мы посмотрим. Поможем, подправим. И должен вам сказать, что у нас вполне и без вас хватает работников – молодых, эффективных, без комплексов. Любой из них, знаете, просто ухватится за ту возможность, которая сейчас предлагается вам. Зубами вцепится и уж обратно нипочем не выпустит. Просто я подумал, что безупречное имя человека, который всегда писал только то, что искренне полагал верным, само по себе постепенно стало капиталом. Его нужно наконец пустить в дело, как вы полагаете? Но, в конце концов, это, знаете, ваши проблемы.

Весь трясаясь от бешенства, с горящим лицом Корховой вывалился из помпезного офиса, и тяжелая медлительная дверь с механической неотвратимостью затворилась за ним. Он поднял воротник, сунул руки в карманы и медленно пошел в сторону Арбата. Надо было пройти, чтобы успокоиться, а от Смоленской к его дому была прямая ветка...

И кругом снова закипел великий город.

Провонявший героином и экстази. Распухший, как утопленник, от своих и чужих денег. Осатаневший от разом спущенных с цепи вождельний...

Когда-то Корховой обожал эти места. Он понимал, что не слишком оригинален, и любить арбатские переулки с некоторых пор сделалось настолько банальным, что однозначно свидетельствовало об отсутствии высоких творческих потенциалов; но ему было плевать. Эти дворы уж какому поколению подряд освещали жизнь оконцами, с детской наивностью окрашенными в разноцветные занавесочки, и дышали, будто птенцов отогревая, незатейливым бабушкиным уютом; когда их взорвали стеклянные, без роду и племени новоделы, пошедшие вскакивать на теле Москвы, как громадные, налитые до полупрозрачности гнойники, – Корховой понял, что загноилась душа страны.

Он простить себе не мог малодушия, которое только и заставило его закончить разговор вежливым «Я должен подумать». Он даже не дал щенку в зубы, когда тот усмехнулся издевательски: «Только не увлекитесь размышлениями».

Сколько слов!

А значили они лишь две вещи: чтобы всерьез и надолго присосаться к финансовому потоку, оросившему ныне гордость за Отчизну, понадобился сериал без конца, этакая «Кармелита» о полной превратностей и вражьих козней судьбе прекрасной и вечно юной русской науки; и нужен негр, который готовил бы реальный материал, а они потом делали бы с этим материалом что вздумается, потому что никто из многочисленного откормленного персонала, все – на «Паджеро» и «Субару», не смыслил в науке ровным счетом ничего, но каждый очень даже смыслил в том, что нужно народу и где касса.

Господи, в отчаянии думал Корховой, теперь эта свора патриотизм распиливать кинулась.

В советское время она воспевала СССР и учила любить его и им гордиться. Потом принялась воспевать демократические ценности и права человека. Теперь, толкаясь локтями и на бегу теряя шузы, развернулась опять и рванула туда, где с некоторых пор платят больше; и из поколения в поколение все, до чего она, эта свора, эта сволочь дотрагивается своим блудливым липким языком, превращается в гротеск, в абсурд, в надутое уродство, в издевку над здравым смыслом... Пять лет такого воспитания патриотизма – и он станет ненавидимой и презираемой всеми пародией на себя ровно так же, как когда-то слаженными усилиями эффективных, не обремененных комплексами работников в пародию на себя безнадежно превратились и мораль строителей коммунизма, и общечеловеческие идеалы.

Похоже, все в области духа, что начинает подвергаться материальному стимулированию, непременно выворачивается наизнанку.

Да, но, черт возьми, может, все-таки лучше, если за деньги говорятся слова ЗА нас, чем если за те же деньги говорятся слова ПРОТИВ нас? И почему это я все время должен оказываться по другую сторону от денег? Мир теперь так устроен, черт его возьми совсем, что только те слова, которые хорошо оплачены, будут услышаны! Что же теперь, вешаться? И кому станет плохо? Я буду висеть, думал Корховой распаленно, а они будут жрать?

Неужели и на этот раз он позволит себе остаться в дураках?

Как там сказано-то?

Любезная сердцу цитата; сколько раз она Корховому, пусть и неверующему, помогала, давала надежду, аж слезы набухали...

Началось все со звезды Полынь; бабахнула откуда ни возьмись, и воды стали горьки. Но на нее мы уж всяко насмотрелись, нахлебались горечи вдосталь, а потом...

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое»<sup>1</sup>.

Очень славно.

Но пока святой город сходит с неба, пока, понимаете ли, Сидящий на престоле якобы чего-то там себе творит – нам есть-пить и себя уважать КАК-ТО НАДО?

Если бы Корховой и впрямь был выгоревшей звездой и какой-нибудь астрофизик сумел заглянуть в него в тот момент, когда он, в мокро отблескивающей куртке, ссутулившись, брезгливо жмурясь то ли от порхающей в воздухе ледяной мороси, то ли от отвращения к себе, среди толпы таких же мокрых угрюмых торопливых людей подходил к некогда любимой станции московского метро, он назвал бы то, что увидел, обычным нейтринным охлаждением. Дотлевающее ядро души сжималось все сильнее, все туже, давление в нем нарастало, как под гусеницей медленно наползающего танка; суетливая рябая мелочь элементарных частиц начала невозможные прежде превращения, и с выделением уже не способных никого ни осветить, ни согреть нейтрино последние крохи энергии пошли вразнос.

Как все в мире похоже...

Корховой даже остановился.

А я знаю, с чего начну этот сериал, понял он, и у него даже мурашки побежали по спине. Никто не знает, с чего можно ударно начать, только он знает. И только он сумеет.

Поняли? Только он.

---

<sup>1</sup> Откр. 21:1–5.

И вдобавок – может, то, с чего он начнет, все-таки окажется не высосанной из пальца лажей, а правдой.

Хотя какая теперь разница.

– Наташка! Привет, радость моя! Не узнала? Ха-ха, богатым буду! Это твой безутешный воздыхатель... Ну, молодец. Признала. Да, сто лет не виделись, не слышались... Ты в первопрестольную не собираешься? Нет? Совсем укоренилась там в Полудне, или как ваш Арзамас Шестнадцать нынче кличут? Кругом шешнадчатъ, ага. Нет, не выпил... Голос веселый? Получил долгожданное предложение, от которого невозможно отказаться. Почему невозможно? Потому что неохота. Слушай, я о деле между делом. Если я к вам заеду на несколько дней, на недельку, там где-то можно остановиться? Гостиница пустует в межсезонье? Ага, хоть вся моя? Чудненько... Значит, самое время. Да, понимаешь, я готовлю серию статей... А может, и не только статей, там видно будет. О нереализованных проектах, в частности, космических. Хотел бы тронуть тему... Ты своего ненаглядного не монополизировала? Нет? Упаси боже, современности я касаться и не собираюсь, это твое. Мне нужно творческое наследие былых эпох. Упущенные победы. Твой же вроде имел какое-то касательство к первым проектам орбитальных самолетов... «Аякс», «Поллукс»... или как там? «Турнепс»? Да не выпил, клянусь, шучу просто, ибо рад тебя слышать... И ты? Спасибо... Нет, ну, если былой проект плавно перерастает в нынешний, мы с твоим четко обговорим, до какого момента можно, а после какого – ни-ни. Это все решаемо. Ты, главное, меня представь ему заново, ага? А то, помню, на Байконуре все было кубарем... А хорошо было, да? Ощущение близкого будущего... С тех пор так уж и не бывало никогда. Смотри-ка, даже это помнишь? Обалдеть. А я тот листок с иероглифом «сердце» до сих пор храню. Не шучу, правда. Только не помню, где лежит... Ха-ха-ха! Ну, тогда будем считать, что подписали протокол о намерениях. Я, когда билеты возьму, тебе позвоню, ага? Где-то во вторник, в среду. Слушай, а чтобы мне с ненадежной нашей связью не связываться... Может, ты там забьешь в отеле махонький номерок на неделю? По старой дружбе? Вот молодец! Рад буду повидаться, правда. Счастливо!

А поутру он позвонил потенциальным работодателям и сказал, что взвесил все, прикинул первые планы и согласен взяться. Ему и в голову не пришло сравнить: ради любви и, возможно, счастья он не стал изменять себе, а ради этого – стал. И с равнодушием, сегодня начавшим становиться привычкой, стерпел высокомерно-снисходительный ответ щенка: «Мы, знаете, и не сомневались, что вы примете правильное решение».

Стерпел, но подумал: а по такому случаю не грех и выпить. Не всякий день тебе дают возможность сделать пространное, обстоятельное и хотя бы в исходном варианте честное высказывание, да еще и денег немерено сыплют за это. Давненько Корховой не размачивал счет с зеленым змием – но теперь можно. Полет на Луну, об участии в котором столь безответственно ляпнул ему ракетный академик в байконурском нужнике, явно приказал долго жить. А стало быть, для чего еще и нужна печенка творческому человеку?

Пить один, однако, он все-таки не хотел.

Хорошо, что есть друзья. Безотказный Ленька Фомичев в ответ на приглашение только и спросил по телефону: «А не умрем?» – «А смотря чем возрадуемся», – ответил Корховой. «Тоже верно», – согласился Фомичев. «Я банкую, – сказал Корховой. – Открыт неограниченный кредит». «Вы смотрите-ка, – с хорошо поданной завистью в голосе сказал Фомичев. – Неужто жизнь удалась?» – «В процессе».

С удовольствием обхлопались по плечам и спинам, полюбовались друг на друга. Редко видимся, надо бы чаще. Жизнь стала совершенно сумасшедшая, ни черта не успеваешь. Отлично выглядишь. Да ты о чем, что я, баба, что ли? Не знаю, не проверял. Ха-ха-ха. Чем зажевывать будем? Великим жовтнем. То есть, великим зажовтнем. Ха-ха-ха.

Старт был дан в три двенадцать по Москве.

Выпили по первой.

Ну, ты как? Голос не потерял? Ясность взора? Руку на пульсе держишь? Обо что пишешь? Я твою последнюю статью видел, про малошумность подлодок – ты уверен в том, что наплел? Или это так, вдохновляющая перспектива, поданная как свершившейся факт? Богом клянусь, Степка, своими ушами слышал... что не слышу ни фига. Ха-ха-ха. А ты? А я все по звездам, все по звездам... Они кому-то еще нужны? Ну, это смотря как написать... Ха-ха-ха. «Булава»-то скоро полетит круче фанеры? Ага, до звезд. Хорошо бы. Тогда будем наконец писать в соавторстве, каждый про свою часть траектории. Ха-ха-ха.

Выпили по второй.

А по деньгам как? Ну, как, как... Хватает, как видишь. Но вообще-то гадство полное. Ага, это точно. За глянцем теперь не угонишься. Ты гламурить не пробовал? Это как? Ну, черт его знает... Влияние экзопланет на мужскую потенцию. Елкин корень, Ленька, это ж золотая жила! Глоба мрачно курит в сторонке. Слушай алаверды: малошумность стратегических подлодок серии «Ясень» как следствие их фригидности. Ха-ха-ха.

В кафе по раннему часу было малоллюдно.

Слева изысканно веселились две юные пары бизнес-класса. Окидывая придирчивым взглядом до отказа забитый столик, эффектно щетинистый мачо, залитый в черную кожу от ушей до пят, с легкой капризной озабоченностью спросил: «Семь на четыре – это сколько будет?» Его подруга, в фестончатой блузе и блестящих широких штанах, послушно свесилась пятнистой всклокоченной прической над дорогим айфоном и принялась проворно тюкать сенсоры длинным, как лепесток астры, синим коготком: «Сейчас... Погоди. Батарея садится, что ли...»

Справа поодаль разухабисто гуляла атлетическая группа в пятнистых, под спецназ, одеждах; говорить они уже не могли, только пели: «Наши жены – шлюхи заражены!»

Как тонко, подумал Корховой. Не «заряжены», а «заражены». Какой-то мастер художественного слова поработал с каноническим текстом всерьез... Осовременил.

Выпили по третьей.

Потянуло на обобщения.

– Степашка, слушай... мы вот желчью давимся, а если подумать... Если кругом вдруг на секундочку случайно перестанут воровать, пилить бюджет и брать взятки – экономика же встанет. Представь: метр жилья – сколько там? Пять тыщ баксов? Или уже опять за шесть зашкалило? Неважно. Может это купить хоть кто-то, живущий на зарплату? Сколько надо получать, чтобы сделать такую покупку? Отрежь левые доходы – конец строительной индустрии. Или вот в одном только Питере уже пять, кажется, автозаводов поставили. Отрежь взятки – кто сможет покупать такую прорву машин? И так во всем. Теперь попробуй победи коррупцию, какое будет первое следствие? Экономический крах. Никто не сможет ничего покупать. Производство окажется без потребления. И сборы с растаможки уйдут в ноль... Все – в ноль. А тогда что? Снова пустая казна. Поэтому как тут можно победить коррупцию? Только если поднять зарплаты до уровня взяток и хищений. Чтобы все эти пресловутые, уже оскомину набившие врачи и учителя, ученые и прочие вагоновожатые могли делать покупки, как депутаты. Как банкиры. Как чиновники. Как милицееское начальство. Тогда, даже если коррупция исчезнет, промышленности будет для чего и для кого производить, а сфере услуг – для кого торговать и кого обслуживать. Реально это? То-то. Так не зуди мне, что государство не видит воров у себя под носом... Экономика крутится на этих самых ворах. Бюджетникам подбрасывают только на поступающий в казну через налоги процент с ворованного...

– Леня, знаешь, меня в этой ситуации утешает только одно. Наконец-то это не наша национальная дурь, а полное воссоединение с мировой цивилизацией, чтоб ей пусто было. Что есть экономический кризис? Человечество подсело на шмотки, надуло пузыри и само сдулось, потому что, когда пузыри лопнули, покупательной способности оказалось недоста-

точно для дальнейшего кручения глобальной экономики. Вдумайся – честно заработанных производительным трудом денег в целом мире не хватает для того, чтобы экономика этого мира могла производить столько, сколько она производит, и продавать столько, сколько продает! Расширенное воспроизводство обеспечивалось только деньгами жулья и ворья. Плюс виртуальные деньги, плюс потребление под гипнозом – что тоже проходит по категории жулья. Чтобы фармацевтика работала, чтобы лекарства покупали возами, уже каждый год новые пандемии приходится из пальца высасывать – атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп...

Слушай, точно. Осталось придумать только микробный грипп. Представляешь, как можно народ застрашать: вы, скажем, простудились или порезались, у вас микробы, а они больные, потому что в каждом микробе еще и по вирусу сидит! Очень дорогие вакцины нужны, ну просто ОЧЕНЬ... И ведь поверят!

А как иначе? На то и придумала цивилизация экспертов на каждое дело, чтобы им верили. Цивилизация же еще не врубилась, что пришла эпоха без предрассудков, и экспертами движет не всякая там ответственность или профессиональная честь, а только желание жировать не хуже тех, кто их нанимает. Чем больше ты отхватил – тем, значит, ты ответственнее, профессиональнее и честнее, вот и весь сказ. Эксперт теперь – это просто мастер квалифицированных подтасовок. Вот пугают глобальным потеплением, будто оно хоть на волосок от нас зависит, и стригут на этом, стригут! И только поэтому могут покупать, покупать!

А реклама? Я этого достойна, ага. Миллионерский стандарт жизни вбивается как единственно приемлемый – и любой, кто так не сумел, а их почти что все, ощущает себя обреченным на вечное лузерство. Отсюда имеем немотивированную агрессивность, лузеры покупать много не могут, зато крушат, ломают и жгут, и пуляют чуть что, а значит, и от них, хотя бы так, возникает экономическая польза – цветут ремонтные фирмы, растет потребление оружия и медикаментов, ура, карусель «производство-потребление» крутится с ускорением.

Прикинь, а кредитование? Помнишь, нас в перестройку программировали: при коммунаках людям все дает государство, и оно же может в любой момент отобрать. У людей нет ничего своего. А вот при капитализме – надежная частная собственность. Поэтому капитализм человечнее, он не обязывает пресмыкаться перед властью, дает чувство свободы, уверенности, самостоятельности...

Ну точно! При таком размахе кредитной системы снова у всех обычных людей нет ничего своего. Чуть что – и голый. Только тогда отбирали за нелояльность, а теперь – за неплатежеспособность. Чтобы остаться с семьей в доме, где вы уж пять лет прожили и откуда тебя могут выпереть, ты же перед начальником будешь на цырлах бегать, а если кто погрозит твоему доходу – плотку порвешь, не задумываясь! Какая тут уверенность и свобода! Человечность типа зашибись!

Именно. А когда дутых и ворованных денег на секундочку не стало, экономика рухнула. И десятки тысяч честных работников мигом полетели на улицу. И великие транснациональные корпорации, два десятка лет долдонившие, будто государство отмирает, а его функции переходят к ним, к корпорациям, куда побежали спасаться за опять-таки деньгами? Да к тем же государствам! И те, натурально, принялись им вливать! Опять же из нашего кармана – им на бонусы, чтобы все эти успешные люди, виннеры, мать их, могли снова покупать, как прежде, и тогда – о радость! – мир выходит из рецессии! Даже Обама с Саркози заблекотали о том, что нужен новый капитализм – только никто не знает, какой он... Это же сумасшедший дом!

– Слушай, Степка... Вот ты мне скажи – зачем нам столько барахла?

– А хрен его знает...

– А прикинь – есть еще одно. Я сейчас подумал... Ведь зарабатывать на пороках надежнее, чем на добродетелях. Обслуживая праведников – что ты им втюхаешь? Три корочки хлеба? Сто томов умных книжек? Экономика же встанет! А вот обслуживая ненасытных гордецов, тщеславных развратников, неистовых обжор – не сомневайся в доходах. Поэтому капитализм везде и всегда, вольно или невольно, прямо или косвенно будет поддерживать пороки против добродетелей. Будет пороки ценить как неперемное свойство крупных незаурядных личностей, как признак ярких индивидуальностей, масштабных характеров... И осмеивать, унижать, объявлять уделом серых ничтожеств любую скромность, умеренность, непритязательность... Это, мол, следствие убожества, отсутствия фантазии и размаха. Нищета, мол, духа. Вот итог протестантской этики! Вот такая нам будет система ценностей!

Еханий бабай! Получается что? Получается, что теперь, если обходиться необходимым – все валится, и даже это необходимое не на что производить. Возможность производить необходимое обеспечивается только возможностью сбывать излишнее. Да елы-палы, ведь необходимое – оно у человека с двумя руками, двумя ногами и строго определенным метражом кишок довольно невелико. Увеличивать неограниченно можно только лишнее. Что и делается. Скоро нам такие новые потребности выдумают – мама не горюй... Ни по какому ни по злему умыслу, а просто потому, что иначе экономическая модель не срабатывает. Сколько это может продолжаться? Камо грядеши, блин?

Выпили и по четвертой, и по пятой, и, кажется, успели по шестой.

За столиком слева вдруг принялись громко ссориться. Непонятно, с чего началось, но второй парень, одетый явно скромнее кожаного приятеля, вдруг принялся с силой дергать за край юбку своей стриженной под новобранца подруги, тщетно пытаясь стянуть этот край пониже – юбка и впрямь окутывала манящей тайной разве лишь область применения гигиенических прокладок; потом заорал: «Расселась тут с голой сракой!» Подруга, поблескивая вшитыми по-над губами скобяными изделиями, улыбнулась с гордым превосходством. «Это у тебя срака, а у меня попочка!» – «Какая, бя, разница?» – «А такая, что сракой срут, а попочкой на международных конкурсах призы получают!» Мачо и его искушенная в математике спутница от души хохотали.

Пятнистые справа уже и петь не могли; едва ворочая языками, но с отчаянным пафосом надсаживаясь, хрипло декламировали не в лад: «Жулик на Майорочке – а качество в «Пятерочке!»»

Помолчали, с тихим отвращением вслушиваясь. Выпили по вроде бы седьмой.

– Говорил я, дома надо бухать, – мрачно выговорил Фомичев.

Корховой посмотрел на часы.

– Ладно... – невнятно проворчал он. Язык у него уже изрядно сомлел. – Вот-вот музыка начнется – так не то что эту шпану, друг друга слышать перестанем.

– Тоже ни фига хорошего...

Нехотя закусили.

– А ты с Наташкой так больше и не видишься? – вдруг негромко спросил Фомичев.

Корховой даже вздрогнул.

– А ты чего спросил?

– Да черт его знает... Космодром вспомнился от этих разговоров. Знаешь... Как зеленое дерево среди обгорелых пней.

– Я к ней поеду на днях, – во хмелю не утерпел прихвастнуть Корховой. И тут же смутился. – Ну, не к ней... К ним туда. Писать, может, буду про ее этого... гения шуплого... Ну, не про него, конечно, а про старый его проект.

– Здорово, – качнул головой Фомичев. – Интересно. Плазмид... – И вдруг загорелся: – Слушай, а поехали вместе! Я выкрою пару дней. Сил уже нет в рутине барахтаться!

Корховой насторожился.

Хмельная голова плыла, как полено в океане, но еще соображала.

– Знаешь, Ленка... это... ну... вряд ли получится. Я с Наташкой говорил нынче – у них одна гостиница на весь городок. Да и там – полным-полна коробочка. Наташка насчет номера похлопотать обещала, только на это и уповаю. А без хазы – сам посуди, не на коврике же у двери спать. Не те наши года.

Дружба дружбой, смятенно думал Корховой, а как бы дружбан не вывернул тему орбитального самолета в своих оборонных надобностях. Подшустрит и сам напишет, и снимет все сливки. Застолбит объект. Чего доброго, и бабки на себя оттянет. Этот финт вполне возможен, и с какой такой радости? Он, что ли, мечтал о звездах? Он холил и отращивал долгожданный контакт с ТВ? Он унижался перед щенком-менеджером? Дудки, думал Корховой, все более ожесточаясь, это моя тема!

Это наша корова, и мы ее доим!

– Ну, конечно, – согласился Фомичев, отворачиваясь. – Хотя... Может, в следующий раз. В общем, держи меня в курсе, лады?

– О чем разговор, начальник! Положись!

В свете ярких фонарей они долго стояли, обнявшись, неподалеку от входа в метро, и невнятно бубнили друг другу на прощание товарищеские приятности. Вполголоса, чтобы не искушать судьбу («Вон, нашего брата журналиста уже в вытрезвителях мочить начали...»), спели «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Фомичев, играя в «Иронию судьбы», все заклинал: «Тише, тише... Под крылом самолета о чем-то поет...» Потом заботливо спросил: «Ты доедешь? В вагоне не задрыхнешь? Может, проводить?» Корховой мотал висячей головой, мутно отнекиваясь – хотелось остаться одному, потому что было стыдно.

Уже неподалеку от дома он, пошатываясь, как встарь, зашел в ближайший магазин, купил бутылку самой дорогой водки и в одиночку выхлебал ее ночью и утром.

Жизнь оказалась не дружбой в стужу, а грызней за кость, и этого предательства он не мог ей простить.

## 3

Попрощавшись с Корховым и для очистки совести удостоверившись, что тот, несмотря на характерную нетвердость походки, добрался до эскалаторов, не возбудив алчного внимания дежуривших в вестибюле стражей порядка, он вернулся наружу и медленно двинулся по запруженной, тесной Большой Полянке к Якиманской набережной. Торопиться было некуда. Настроение оставляло желать много лучшего, а бесцельная осенняя прогулка, как правило, успокаивала. Хотелось верить, что и на сей раз поможет. И уж всяко выветрит излишний хмель.

Встреча с Корховым надежд не оправдала. Жаль. Он так на нее понадеялся – отчасти поэтому и отозвался сразу на предложение повидаться, несмело предположив, что это, может, ему счастливый случай небеса посылают...

Славный парень Степка, но что-то с ним явно происходило в последнее время не то. Фомичев голову бы дал на отсечение, что еще полгода назад его осторожная, намеком проброшенная просьба поехать в Полдень вдвоем была бы встречена с распростертыми объятиями. А теперь – нет, зажался. Хочет встретиться со старой любовью без помех, без свидетелей? Стесняется? Боится быть сызнова отвергнутым, а уж если так, то хотя бы не прилюдно? Может быть... Ничего иного, во всяком случае, Фомичеву на ум не приходило.

Ладно, это неважно. Важно то, что надежная нить связи с Полуднем, которая так удачно установилась у него более года назад, лопнула, и замену ей найти пока не удавалось. А это из рук вон плохо. Уже три недели Фомичев понятия не имел, что в Полудне происходит. Да, конечно, особо тревожиться не приходилось, потому что ничего шибко важного не происходило там по меньшей мере несколько месяцев, дело у Алдошина, судя по всему, как-то подвяло и подкисло; но экстраполяции – дело аналитиков, а он, Фомичев, должен добывать и вовремя поставлять конкретную и достоверную информацию.

Однако все маневры, что приходили в голову, по реализации выглядели бы жутко нарочитыми и демонстрировали бы любому мало-мальски пристальному наблюдателю (а их наличие надлежало предполагать априорно), что Фомичеву ни с того ни с сего вдруг позарез понадобилось туда, к секретным частным ракетчикам. Светиться же таким образом было совершенно недопустимо.

Ужаснее всего, что контакт угробил Фомичев сам.

Некачественно просчитал.

Лучшее – враг хорошего, и порой очень опасный враг. Погонишься за несусветным совершенством – можешь развалить и то малое, да надежное, что имел.

Конечно, Фомичев не сам все решал. Тут вам не Робин Гуды шерифам в нюх дают, не боевичище крутят про невыполнимую миссию. Учет и контроль, дисциплина и сермяга. Фомичев продумал выгоды и преимущества новой конфигурации, этапы ее реализации, написал подробный план, доложил по начальству, его поддержали... Толку-то? Коли неудача – он и виноват. И дело даже не в том, что за ошибку придется как-то поплатиться в карьерном или ином подобном отношении – но расхлебывать-то провал надо, и ответственность за многолетнюю успешную операцию с Фомичева никто не снимал. Прежде всего – он сам не снимал. Мука от испорченного дела изводила, как нескончаемая изжога.

Он отчетливо помнил день, когда решил стать чекистом.

Это было в пятом классе. Отец, придя с работы, бухнул на пол тяжеленный портфель, уселся к столу, зажег старую настольную лампу и, будто ни к кому не обращаясь, но точно зная, что сын слышит, сказал сокрушенно: «У интеллигентов совсем крышу снесло...» Маленький Леня, натурально, оставил книжку про девочку из будущего и поднял любопытные глаза: «Это как?»

Отец некоторое время не отвечал; он никогда не торопился, не рубил сплеча – даже в домашних беседах. Обернулся, словно бы удивившись: а ты, мол, птенец, откуда взялся, я ж не с тобой разговариваю, а мыслю вслух... Потом, наклонившись, вытянул из раскоряченного сбоку от стула портфеля хлипкую пачку машинописных листов и кинул ее на стол – точно пригоршню сухих листьев. Мягко прошуршал мгновенный листопад. Отец надел очки, по-деревенски лизнул указательный палец и пролистнул несколько невесомых страниц. «Ну-ка, – сказал он, – вот проверка на вшивость, сын. Как тебе такое?» С трагичным подвыванием прочитал: «Между художником и обществом идет кровавое неумолимое побоище: общество борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть».

И умолк, наклонив голову и выжидательно глядя на сына поверх очков.

Маленький Ленья очень старался сообразить, что тут папу обидело. У него-то у самого перед глазами немедленно вскинулось нечто вроде героической картинки к рыцарскому роману или к фантастике про землян из светлого будущего на отсталых планетах. Кровавое побоище! Празднично, как трубы оркестра на параде, сверкают латы, колышется на заднем плане грозный лес копий; истинный художник с поднятым забралом, со знаменем, на породистом скакуне рубит тянущиеся к нему бесчисленные руки с хищно скрюченными пальцами, а общество – смазанная толпа немых смердов с одинаковыми крысиными мордочками, с веревками, сетями, с дрекольем – старается стащить рыцаря с коня, забить оглоблями и растоптать лаптями.

Трудно было отрешиться от яркого образа, безоговорочно налепившего на участников потасовки товарные знаки «ангел» и «черт», и сосредоточиться на реальном смысле фразы.

Вероятно, думал Фомичев много позже, автору прочитанных папой строк и самому душу грела та же прельстительная, лестная до сладкой дрожи картинка: себя он ощущал таким Айвенго, а всех, кто на него не похож, – взбунтовавшимся быдлом.

«А что, – спросил он потом, – все люди видят то, что хотят, и только художник – то, что на самом деле есть?» – «Пять баллов, сын, – сказал отец, и не улыбочивое худое лицо его потеплело. – В точку. Они себе божественное всезнание приписали, вот в чем беда. И поди ж ты: Белинкова этого еще в шестидесятых напечатали... в провинции где-то, вылетел сейчас из головы журнал... А до сих пор переписывают, перепечатывают, таскают друг другу, и уверены, что совершают подвиг. Несут слово правды в царство лжи. Вот опять нашли. Пятый экземпляр или даже шестой, на папиросной бумаге... Делом люди заняты! Позорище... Где у них мозги?»

И тут Лене показалось, что он понял, какая важная у папы работа.

Нет, папа не посягал на роль арбитра. Такое посягательство тоже было бы приписыванием себе... как он сказал... божественного всеведения. А папа был скромным человеком и сына учил быть скромным. Но совершенно необходим всем этим чересчур увлеченным собой и своими пристрастиями рыцарям кто-то, кто, подставляясь под колотушки и слева, и справа, нешутейно жертвуя собой, разнимал бы беззаветно схлестнувшихся слепых мудрецов из уже тогда известной Лене сказки: каждый из них нащупал какую-то часть слона и остался на всю жизнь убежден, будто слон – это только то, что ему удалось пощупать. Совершенно необходим амортизатор, который то и дело напоминал бы правдолюбцам: так, да не так. Правда, да не вся. Чтобы не растрчивались попусту, на шум, благородство благородных, страсть страстных, ум умных и доброта добрых...

Наверное, именно то прозрение загорелось звездой, с оглядкой на которую Фомичев сориентировал дальнейшую жизнь. И даже когда изверившееся в себе государство перестало заниматься идеологией и Фомичев понял, что отныне таким амортизатором может быть лишь сам народ, и только он – ему и в голову не приходило пожалеть о сделанном когда-то выборе.

Против диссидентов ему, к счастью, не довелось побороться, времена сменились, но работа по противодействию научному и техническому шпионажу давала множество возможностей понаблюдать за интеллигенцией и на досуге о ней поразмыслить.

Отец этого уже не застал. К середине восьмидесятых у него возник новый повод переживать. Он приходил с работы, глотал корвалол и, не доев борща, вдруг разражался гневной тирадой: «Они что, не понимают? Это же не локальный конфликт! На территории Афгана идет третья мировая война. Мы – и весь Запад, его деньги, его технологии плюс крепкие руки духов! К этой войне нельзя относиться спустя рукава, как будто ее нет... Ее нельзя проиграть! Ты понимаешь, сын, там совершаются подвиги, но мы не можем гордиться героями, потому что они дают подписку о неразглашении. Там совершаются преступления, но мы не можем ненавидеть преступников, потому что войны как бы нет и, значит, преступлений подавно нет. Чтобы выбить душу народу, надежней такой позиции и придумать невозможно. Люди должны гордиться героями и ненавидеть преступников!» Кончилось тем, что отец попросил о переводе. Вряд ли он обольщался, что-де явится туда, где все заволок пороховой туман, и там сразу развиднеется – он и тут не приписывал себе божественных прерогатив; просто он не мог быть в стороне. Просьба была удовлетворена.

Много позже, узнав побольше о родной стране, Фомичев предположил, что тогдашнее папино руководство и само радо было от него избавиться – он был уже не ко двору в конторе со своими представлениями и, прости господи, идеалами. Своим рапортом он лишь дал удобный предлог, иначе вряд ли оказался бы возможен в его послужном списке столь разительный и столь молниеносный зигзаг.

Отец успел прослужить на третьей мировой почти год. Тяжело раненного, искалеченного, его привезли в Союз и сбросили на руки сыну. Умер отец через два месяца после ГКЧП – и не увидел ни Пуши, ни спуска реявшего над Кремлем кумачового флага из ночного декабрьского неба в грязь, ни того, как скороспелые вожди, всей душой преданные общечеловеческим ценностям, отбросили, будто мусор, и обрекли на страшную смерть искренне верного дружбе с Россией Наджибуллу, после чего и наступил в Афгане окончательный крах светской цивилизации и настоящий, а не придуманный западными журналистами террор; и уже безнадежный развал. Не увидел, наверное, к счастью.

Вот говорят, думал порой Фомичев, будто в России всегда угнеталась интеллигенция, и в том причина всех бед.

А ведь Россия – единственная в мире страна, где интеллигенты в течение одного века ухитрились дважды взять власть. Воспламененные недоучки, самовлюбленные и обиженные на непокорную, живущую по своим законам жизнь таланты, уверенные, что страну можно править, как статью или театральную репетицию. Вольнодумцы и острословы, высокоморальные развратники, певцы материны и бухла... В общем, сложные натуры, живущие напряженной духовной жизнью.

Оба раза интеллигенция, придя к власти, пыталась воплотить свой, интеллигентский миф. Конечно, в разные эпохи это были два разных мифа: в первый раз коммунизм, во второй – свобода и рынок. Оба, кстати, выдуманы в Европе; оба подразумевали растворение России. Просто курам на смех уши торчат – все диссиденты-западники начинали как правоверные коммунисты, желавшие вернуться к ленинским нормам, очистить партию и построить-таки светлое будущее.

Они просто сменили один западный миф на другой. Сменили с легкостью, потому что в главном оба мифа очень схожи – страны России как вместилища и убежища отдельного народа с его отдельными представлениями, предпочтениями и потребностями миру категорически не надо.

Ведь в чем-то очень существенном одинаковы коммунистический идеал «без России, без Латвий жить единым человеческим общежитием» и либеральный идеал человека как «эко-

номического животного» без привязанностей и предрассудков, свободно кочующего по миру в поисках места, где ему предложат более выгодные условия оплаты.

А вот диссиденты-славянофилы, диссиденты-почвенники коммунистами никогда не были; даже в хрущевскую оттепель они сразу начинали как православные антисоветчики, и в девяностых взяв власть часть интеллигенции, в том числе сменившие окрас истинные ленинцы, их-то и клеймила красно-коричневыми.

Да-да, так называемые гонения на интеллигенцию в начале большевистской эры и травля квасных патриотов и русофатов в девяностых – это всего лишь террор одних интеллигентов против других. Террор невменяемых, загипнотизированных мифом интеллигентов против вменяемых, не оболваненных собственной верой в безумный, придуманный другими и для других идеал. Никто не бывает столь нетерпим к инакомыслящим, как интеллигент, люто убежденный в том, что лишь он мыслит, а все остальные, во всяком случае, все, кто с ним не согласен, – тупые скоты.

Интересно, что из этого успел понять отец?

Но он-то, сам Ленья, как попал тогда в десятку!

И теперь, медленно бредя к Каменному мосту, с которого так сказочно лучезарен в облаке света Кремль, он думал: нужен, нужен этим блаженным, не умеющим ничего беречь, амортизатор и балансир. Чтоб не давал им играть общей жизнью, для себя всегда держа, как волшебное слово «чурики», про запас эмиграцию (чего ж, ни хрена не поняв ненавистную Россию, не начать преподавать русскую культуру и историю в американских колледжах? самый смак!). Не давал шарахаться из крайности в крайность, точно пьяная лошадь...

Вот он, амортизатор, и сработал.

Ведь оба раза реальность выдавливала интеллигентов из власти.

Потребности сохранения страны категорически не совпадали с тем, что вытворяли перелетные стаи умников, в очередной раз обсевших, как скалу в холодном океане, кормило власти на сезон размножения. Первый же шторм сшибал их с насоро насиженных мест – и оставалось лишь привычно крякать из пены.

Но теперь времена сменились.

Шестое чувство современного человека – неуверенность. Из-за нее постоянная демонстрация уверенности, самоуверенности даже, лихости, наглости, когда и самое откровенное хамство ценится как мужественное умение не уступать. Страшно же. Не сумею, не справлюсь. Обскачут! Облапошат! Переиграют! Победят! И тогда все, даже семья, даже самые близкие, крикнут с абсолютно искренним презрением: неудачник!!!

А тому, кто в страхе, – не до высоких материй. Вот русские дворяне в своих поместьях – это да. Или научные сотрудники в советских НИИ...

При капитализме нет интеллигентов не потому, что всем все нравится, а потому, что нет времени на заумь, надо вкалывать и выживать. Потому что нет заботы страны о людях. Нет бесплатного образования, нет санаториев для членов профсоюза, домов творчества для писателей и театральных деятелей... При СССР была масса досуга, был культ вольного творчества, был гарантированный прожиточный минимум, а еще была прорва идеалистов, с раннего детства воспитанных, смех сказать, на высоких принципах великого Октября, на культе святых борцов с самодержавием; они готовы были у тебя с ног воду пить, кормить, одевать, давать приют, рискуя собой, беречь тебя и твои, например, рукописи только потому, что тебя угнетают власти за храбро провозглашаемую тобой правду: вы все видите, что хотите, а я – то, что на самом деле есть.

Ни один диссидент даже не вспомнил, ругая рухнувший Совдеп, о не стоившем ни копейки учении в вузе, но зато каждый считал своим долгом помянуть: у нас на курсе был стукач, отвратительный тип... Потому что интеллигенты не знают благодарности. Они полагают, что всем обязаны лишь себе, своим умопомрачительным талантам, а то хорошее, что

они получают от других, – это как бы само собой разумеется, это им просто положено за их красивые глаза и великие мысли.

И оттого-то нынешняя диссида, несогласные все эти, может существовать только на подачки спонсоров – либо внешних врагов, либо ориентированных вовне родных толстосумов. От души, на свой страх и риск никто нынче не станет возиться с тобой, как с писаной торбой, только за то, что ты ругаешь власть. Выбрал ругаться с властью – твой выбор, а сколько ты на этом заработал? Много заработал – правильно выбрал, молодец, умеешь жить, давай дружить; мало заработал – неправильно выбрал, лох, мы не знакомы.

А что же рыцари наши в блистающих латах, пришельцы из светлого будущего со знаменем высшего знания в десницах? О, они, освобожденные от гнета, выпутавшись наконец из удушающих тенет соцреализма, цензуры и партийного диктата, навсегда расстались с халтурой, с вымученными на потребу кровавому режиму поделками и наперебой кинулись живописать ИСТИНУ и творить НАСТОЯЩЕЕ. От одного лишь перечня названий кидает в дрожь: «Дрянь», «Пыль», «Грязь», «Игла», «Стакан», «Бессилие», «Банда», «Сволочи»... Богат оказался мир истинных художников, несметно богат; отзывчиво и зорко их неподкупное око...

Но три недели назад, идя на прямой контакт с Заварихиным, Фомичев никак не ожидал интеллигентских вывертов.

Анатолий Андреевич Заварихин. Начальник оперативного отдела службы безопасности корпорации «Полдень-22». Пятьдесят семь лет, из них почти пятнадцать оттрубил в конторе, но в тошнотные времена бардака и развала ушел оттуда, как ушли многие, – и Фомичев не мог их осуждать, не понаслышке зная, как выкручивало и мяло честных офицеров на рубеже эпох: и делом заниматься держащее нос по ветру начальство уже не дает, и люди добрые плюют на тебя как на кровавую гэбню; и катастрофу видишь, и сделать ничего не можешь. Восемь лет мыкался по ЧОПам, потом нашел себя при ракетах, при Алдошине. Во время незабвенного вояжа на Байконур Фомичев имел с Заварихиным короткую, ничего не значившую беседу; так, принялся, и тот самое благоприятное впечатление произвел на него. Веяло от седого спокойного спеца какой-то твердокаменной, бескорыстной идейностью, и, грех сказать, этим он напомнил Фомичеву отца.

Излишняя идейность-то, похоже, и подвела Заварихина, но кинула Фомичеву неожиданный и негаданный козырь.

К началу эпопеи с Полуднем Фомичев уже четыре с хвостиком года был залегендирован и заглублен как вольный журналюга, работающий по оборонно-промышленному комплексу и всяким хитрым его новинкам, чем убойнее, тем краше. Ему понравилось писать и публиковаться, он научился и этим тоже приносить стране пользу, то вскрывая и бичуя, то гордо возвещая о победах и прославляя мастеров и подвижников – публично задавая как высшую планку служения Отчизне, так и вопросы, этой Отчизне предельно неприятные, и всей душой надеясь, что она, хвороба родимая, Родина-уродина, уже не сможет отвертеться и не дать хотя бы уж не публичного, хотя бы совершенно секретного, но реального ответа; Фомичев был на отличном счету и в СМИ, и в конторе. Отец был прав: людям надо гордиться героями и ненавидеть преступников – и Фомичев обеспечивал им это жизненно необходимое право.

Пару лет назад, в результате досконально спланированной многоходовой операции, его подставили под вербовку китайцам – и с той поры у него стало уже целых три ипостаси, а резидент китайской технической разведки «товарищ Ван» полагал Фомичева одним из самых ценных своих агентов. Что имело вполне понятные последствия для точности представлений Китайской Народной Республики, великого нашего соседа, стратегического партнера нашего, о некоторых существенных тонкостях многострадальной, но вечнозеленой русской оборонки.

Жизнь была интересной, важной, нужной; но жизни маленькой, личной, при такой мешанине ипостасей возникнуть не могло никакой, разве что проскакивали самые скотские ее варианты, одноразовые, как шприцы. Проскакивали все реже, сошли на нет. Нормального порядочного мужика Фомичева от одной мысли о них уже просто мутило.

Крайне аккуратные попытки выяснить, кто из персонала Полудня прислал ему то памятное электронное письмо с предложением себя в агенты для работы на Китай, заняло у Фомичева больше трех месяцев. Он очень боялся спугнуть нежданного инициативника. Тот был ему как нельзя кстати. Теперь задание, поставленное товарищем Ваном перед отъездом группы журналистов на запуск первой полуденной ракеты, Фомичев по праву считал выполненным на двести процентов. Товарищ Ван на Фомичева нарадоваться не мог, а те товарищи, что подсунили Фомичева товарищу Вану, – и подавно; информация из получаемых Фомичевым писем добровольного доносчика до передачи резиденту изучалась (конторе Полдень был тоже весьма интересен), фильтровалась и при необходимости модифицировалась. То же, что автор писем по каким-то своим каналам, которые, видать, были достаточно серьезны, обнаружил в Фомичеве китайского агента, само по себе было настолько ценно для локализации утечек, что за одно это неизвестного изменника хотелось расцеловать.

Собственно, Фомичева подкупило первое же письмо. Он где-то понимал человека, который его написал и пошел на такой риск, на преступление даже, ради идеи. По косвенным данным, по оговоркам, время от времени встречавшимся в письмах, минимально прибегаая к возможностям самой конторы и проведя несколько очень аккуратных перепроверок, Фомичев помаленьку все же вычислил автора писем и был просто потрясен тем, что это оказался Заварихин.

Сразу же начал зреть сложный и многоцелевой план, способный качественно изменить конфигурацию по нескольким параметрам. Только себе Фомичев мог признать в том, что одной из важнейших целей, которые он себе тут ставит, одной из важнейших его личных мотиваций является стремление вытащить Заварихина из западни, включить его в игру уже сознательно и на правильной, на нашей стороне. Грубо говоря – спасти.

Перед начальством он напирал на иное.

Товарищу Вану-то Фомичев доложил о вербовке Заварихина как о личном крупном успехе. Но нельзя было исключить, что раньше или позже по каким-то своим соображениям, например, засомневавшись вдруг в нем, в Фомичеве, китайцы попробуют выйти на Заварихина напрямую. Даже если это удастся надлежащим образом отследить, возможность фильтровать поставляемую Заварихиным информацию будет утеряна, а то, что уже было передано, окажется дезавуировано, и равным образом дезавуирован и провален будет он, Фомичев. Расхождения между тем, о чем сообщал Заварихин, и тем, что получал товарищ Ван, вносились крайне деликатно, но при контакте без посредника обнаружение таких расхождений станет вопросом времени. Если же контакт отследить не удастся, он будет иметь последствия, опасные уже для самой жизни Фомичева. Риск неоправданно велик.

Аналогичная ситуация возникнет, если, напротив, по каким-то своим соображениям попытку выйти напрямую на китайскую разведку сделает сам Заварихин.

Еще более неприятные коллизии могут возникнуть, если китайцы, отнюдь не ставя о том в известность ни Фомичева, ни Заварихина, найдут в Полудне какой-то дублирующий источник информации. Тогда достаточно быстро окажется дезавуирован и потерян уже и Заварихин, совершенно беззащитный при возникновении каких-то вилков внутри корпорации в силу своей полной неосведомленности об игре.

Если исходить из того, что игру с китайской разведкой по поводу Полудня продолжать следует – а это, в общем, само собой разумелось, – тогда прекратить разыгрывать Заварихина втемную и выгоднее, и надежнее. В конце концов, Заварихин же, по сути, свой. Бывших разведчиков и бывших контрразведчиков, как говорится, не бывает. Ну, сделал человек глу-

пость, но кто глупостей не делал? Положение в стране все ж таки изменилось, блевать тянет реже. Есть шанс вернуть бойца Родине. Со временем ценнейший может получиться кадр.

Три недели назад Фомичев получил наконец долгожданное разрешение на реальную вербовку. Заварихин как раз по каким-то своим делам появился в первопрестольной.

Договориться о встрече было делом давно отработанной техники.

Наверное, думал иногда Фомичев, если бы я и впрямь был только журналистом, то проявлять назойливость далеко за гранью элементарного такта, ссылаться на рекомендации конфиденциальных источников, требовать беседы вот прямо немедленно, я бы стеснялся. Было бы, наверное, неловко. Но когда он точно знал, что ему не надо никакого интервью, истово навязываться, чтобы его якобы взять, и бессовестно, будто ни своей гордости не имея, ни уважения к вежливо посылающему тебя на хрен собеседнику, настырно клянчить встречу – было проще пареной репы.

Он словно просил не для себя, а для кого-то другого – а делать что-то для другого у него всегда получалось легче, чем для себя.

Гостиница, где Заварихин остановился, была из скромных, и номер – вполне спартанским. Заварихин даже не делал попытки его обжить; может, потому, что приезд в столицу не обещал затянуться, а может, вообще не имел такой привычки. Плотный, коренастый, уверенный в себе пожилой человек спокойно и выжидательно смотрел Фомичеву в глаза.

Заварихин, конечно, полагал, что знает, кто к нему пришел: тот самый корреспондент, который шпионит на благо народного Китая и через которого он, Заварихин, оставаясь для корреспондента неизвестным источником, тоже работает на благо народного Китая. Согласившись на встречу с этим корреспондентом для беседы о тех достижениях Полудня, которые, возможно, имели место с тех пор, как мы, помните, встречались прошлым летом на космодроме и так удачно проводили на орбиту первую вашу ракету? – согласившись на такую встречу, он, однако, не мог не гадать, как пойдет и чем обернется нечаянный прямой контакт с человеком, которого, как был старый боец уверен, именно он из темноты разыгрывал втемную.

Фомичев воспользовался приглашением сесть и не стал тянуть резину. Он заранее прикинул несколько вариантов поведения – и сейчас, чувствуя, как в нем сама собой, снова, как на Байконуре, необъяснимо поднимается волна почти сыновнего уважения к сидящему напротив человеку, предпочел вариант самый короткий, самый искренний и самый резкий. Наверное, и самый благородный.

Потом он мучился: может, все дело было только в том, что он неправильно себя повел? Может, выбери он какой-то иной вариант: мутный, извилистый, когда все только подразумевается и ничто не называется своими именами, окуни он собеседника в столь любимый подлецами липкий сладкий кисель, позволяющий хоть маму родную продать на органы и быть при том уверенным, что замечательно о ней позаботился, устроив в дорогой дом отдыха, – может, тогда все окончилось бы иначе? Был бы успех, было бы радостное, вдохновляющее чувство очередной победы... был бы, в конце концов, жив человек...

Но в глубине души он знал наверняка – это ничего бы не изменило, разве что в худшую сторону. Ошибку он допустил гораздо раньше, и ее практически невозможно было избежать. И в дурном сне не могло привидеться, по каким мотивам Заварихин оставил службу и сколько эти мотивы для него значили.

Он вкратце обрисовал Заварихину реальную ситуацию.

– И тогда, – закончил он, – помимо прочего, очень легко будет представить дело так, будто фактически вы и с самого начала дурили противника, как наш российский контрразведчик. Пусть поначалу и как вольный стрелок. При желании в оригиналах ваших писем можно отыскать элементы дезинформации. Это же прекрасный вариант, правда?

Когда Фомичев умолк, Заварихин долго не произносил ни слова. Молча смотрел на Фомичева немигающими глазами, потом так же молча отвел взгляд и стал смотреть немигающими глазами в окно. Потом неторопливо достал допотопную массивную зажигалку, звучно хряпнул ею, высекая огонь, и опрятно вставил в тихий свет маленького пламени сразу затлевший кончик сигареты. Глубоко затянулся, выпустил дым к потолку.

– Опять вы, – наконец сказал он терпеливо ждавшему Фомичеву.

– Опять я? – не понял Фомичев. – А что, после Байконура мы...

– Да не вы, – безо всякого раздражения, только со страшной усталостью сказал Заварихин. – Не вы лично, молодой человек... А – вы. Вы, мундиры голубые... Просто плюнуть некуда.

Затянулся. Выпустил дым.

– Как же вы мне надоели... Как же ненавижу я вас.

Фомичев был готов ко многому, но тут несколько растерялся.

– Позвольте, Анатолий Андреевич...

И осекся, не зная, что сказать. Заварихин, подождав секунду, чуть усмехнулся.

– Ну? – спросил он. – Что я вам должен позволить?

И тут Фомичев ощутил самое обыкновенное раздражение. Даже некую тень обыкновенной обиды.

– Мне вы ничего, конечно, не должны, – сказал он. – Но не кажется ли вам, что вы и нашим китайским братьям ничего не должны – а вот, однако ж, в поте лица, рискуя собой...

– Прекратите паясничать, – сказал Заварихин. – Вы что, из генеральских сынков, что ли? Сразу по рождении был зачислен в гвардию секунд-майором... Одними доносами карьеру делаете? Совершенно не умеете держать удар.

– Ну-у, – сказал Фомичев разочарованно. – Поехали...

– Приехали, – решительно ответил Заварихин. – Я все это проходил, когда вас, молодой человек, еще и на свете не было. – Умолк. Затянулся. Выдохнул дым. – В кои-то веки снова нашлись умные, честные головы, способные сделать что-то достойное, и вы тут как тут... Один с сошкой, семеро с ложкой. Сколько вы собираетесь стричь с Полудня?

– Чего-то я даже понять не могу вашу околесицу, – с простонародной развязностью сказал Фомичев.

– А, так вы что, за идею? – качнул головой Заварихин. – Стричь тугрики начальство будет? А вы типа Родину защищаете?

– Поясните вашу мысль, – светски попросил Фомичев.

Заварихин опять усмехнулся.

– Охотно, – с издевкой ответил он Фомичеву в тон. – Извольте. У меня почти что на глазах... трижды за два года... доблестные органы, зорко и неусыпно стоящие на страже интересов страны и ее трудового народа, давали трем совершенно разным коллективам ученых разрешения на передачу китайским коллегам существенной научной информации. Как правило, связанной с ракетным делом. За большие китайские деньги, конечно. Информация не была засекреченной, просто существенной, типа ноу-хау, но разрешение органов требовалось непременно. И за хороший откат такое разрешение непременно давалось. А если откат задерживался или выплачивался не полностью, пусть даже по вине китайской стороны, которая то не поспевала с оплатой, то норовила сжульничать, те же самые органы без зазрения совести сажали этих ученых как шпионов. За передачу, понимаете ли, иностранной державе совсекретных сведений. Знаете, говорят: если кирпич падает на голову один раз – это несчастье, если дважды – закономерность, если трижды – добрая традиция. Вы четвертый. Как такое назвать?

На протяжении этой речи Фомичеву казалось, что под ним растворяется пол. И вот открылось пустое пространство без конца и края, и началось свободное падение без края

и конца. Все шло коту под хвост. Все его далеко идущие планы, все его великодушные замыслы...

– Наверное, законом природы, – сказал он, из последних сил стараясь, чтобы и содержание ответа, и его тон остались примирительными. Предполагающими хоть какое-то продолжение беседы. – Не стой под грузом и стрелой.

Опытный Заварихин это сразу просек – и прекратил.

– Не будем упражняться в остроумии, – сказал он и резким движением, будто ломая двумя пальцами кадык врагу, загасил сигарету в пепельнице. – Закончим так. По не зависящим от меня объективным причинам я не могу принять ваше любезное предложение и с великим сожалением вынужден ответить отказом. А теперь можете встать и идти темным лесом.

Фомичев наконец вполне осознал, что происходит катастрофа. В первую очередь, увы, чисто человеческая. Он и впрямь встал, но не сделал ни шага к двери и, умоляюще глядя на Заварихина, произвольно прижал оба кулака к груди – точно третьесортная актриса в потугах изобразить душевное волнение.

– Анатолий Андреевич, – проникновенно сказал он. – Ну это же ни в какие ворота не лезет! Если мать захромала – вы что же, оставите ее и дальше хромать по воду и побежите к чужой тетке со своей нерастраченной сыновней любовью? Да откуда вы знаете, может, у этой тетки все суставы уже давно искусственные, вот она на людях и не хромает. Вы ж ее в домашней обстановке отродясь не видели! Демократы нам всю плешь проели, как честен, культурен и добр Запад, – а вы что, на красные флаги повелись? Решили, будто если компартия, так там и впрямь построят коммунизм, о котором, простите за выражение, мечтали наши отцы и деды?

У Заварихина дернулись желваки. Один только раз. Мощный был мужик, выдавший виды. Битый, тертый, толченный.

– Вон отсюда, – спокойно и негромко сказал он.

Так и слышалось в его непреклонном тоне с детства знакомое: вы все видите, что хотите, и только я – то, что на самом деле есть.

Фомичев, вдруг сообразив, как глупо выглядит, опустил руки.

Стало ясно: чем задушевнее он пытается убеждать, тем более лицемерным и лживым для Заварихина выглядит.

– Анатолий Андреевич, – сказал он совершенно иным тоном, нейтральным. – Глупо и противно мне об этом напоминать вам, опытному человеку, который в отцы мне годится... Но ведь с момента, как я выйду отсюда, вы уже бесповоротно окажетесь предателем и иностранным шпионом.

И тут выдержка Заварихину чуть изменила: он с восторгом и радостной издевкой оскаллился. Будто старого друга увидел после долгой разлуки – и аккуратно в тот миг, когда друг расстегнул штаны, чтобы справить нужду.

– Наконец-то слышу родную речь, – ответил он. – Шантаж – любимое орудие пролетариата и его карающего меча. Не тушуйтесь, молодой человек, гуляйте, а с этой проблемой я как-нибудь разберусь сам.

Только наутро, из сводок, Фомичев узнал, что Заварихин застрелился.

Хлопот сразу оказался полон рот. Всполошилось и требовало разъяснений начальство; всполошился и требовал разъяснений товарищ Ван; менты, расследуя малопонятное самоубийство, землю рыли в поисках человека, который посещал покойного за час до суицида и, согласно показаниям гостиничных работников, был, видимо, последним, кто видел Заварихина живым... Чтобы расхлебать всю эту бодягу, понадобилось больше недели.

Когда стало поспокойней, Фомичев перевел дух.

Ему и самому впору было в петлю.

Такую тоску, грех сказать, он испытывал разве что в последние часы отца, когда тот, лежа на диване под шинелью, неразборчиво шелестел что-то, иногда стонал и от беспомощности и неловкости перед сыном тихо плакал; и Фомичев все уговаривал его попить, в отчаянии стараясь хоть как-то порадовать («Папа, морс из черноплодки! Твой любимый. Свежий, утром сварил...»), но отец уже и пить то ли не мог, то ли не хотел, и прекрасная обыденная жизнь неудержимо тонула навсегда.

Был девятый день после смерти Заварихина, когда он вышел на метромост. Сзади время от времени поезда утробно рокотали внутри висящего над рекой тоннеля; серый, тяжелый, как мокрая губка, воздух сочился мелкой промозглой сыростью, слева из серой горы триумфально выпирал Университет, погрузив шпиль в нависшее над столицей грузное дымное море. Перила были исчирканы и исписаны, кто-то кому-то обещал полизать, кто-то кому-то обещал оторвать, кто-то просто был тут тогда-то и тогда-то, а еще была крупная надпись: «Если мир – говно, тебе – туда», и стрелка, указывающая с перил вниз, прямо в бездну, где напряженное свинцовое стекло реки нескончаемо выдувалось из-под моста вдаль.

Странно, думал тогда Фомичев. Глаза жгло.

Оказывается, возможны гибриды из отца и его былых подопечных. Хороший, честный, смелый – начудил, наворотил, погнавшись за смутным сиянием; попал пальцем в небо, подвел всех, кто только был рядом, и тогда уж окончательно уверился, что во всем прав и потому одинок... Чисто интеллигент.

И схоронился в самую дальнюю эмиграцию из тех, что приличны русскому офицеру.

А теперь Фомичев медленно шел по Большой Полянке.

Бесились огни, торопились и толклись люди; нервозно рыча, как вечно голодный бесконечный крокодил, полз мимо поток машин – и Фомичев не знал, как быть дальше.

Ну, выпил. И что?

Помолиться разве...

Мысль, подкупающая свежестью и простотой.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пошли мне в оперативную разработку ценный и приятный в общении источник...

Цыц, сказал себе Фомичев. Кончай, придурок. Есть вещи, которыми нельзя шутить даже по пьянке, даже наедине с собой. Почему? Действительно, почему? Не то что я божьего гнева боюсь, понял он. Не верю я в горный гнев. Я себя испортить боюсь. Потому что хамство есть хамство, и стоит только позволить себе...

Вдруг навалилась усталость. Хмель выветрился, и захотелось просто спать и по возможности ничего не видеть и не слышать. Пожалуй, не стоило бродить дальше; прогулка сделала свое дело, желание спать – это хорошо. Последнее время Фомичев худо спал, досады одолевали. Наверное, уже не стоило идти до следующей станции метро, вон обычная остановка...

На странную женщину на остановке он обратил внимание сразу. Трудно было не обратить. В легком длинном пальто, в туфлях наверняка не для мокрого асфальта и вообще одетая явно не чтобы килькой в банке, хребет к хребту с такими же, умлевать в грохочущих давящих метро, но для изящной посадки в просторное авто и царственного выхода из него, женщина сидела, привалившись спиной к прозрачной задней стене кабинки ожидания, одеревенело склонив голову немного набок, и широко раскрытые глаза ее были стеклянными. Одна рука свешивалась с колен, холеные пальцы сжимали сигарету. Что-то в сигарете было неправильное, подумал Фомичев и тут же сообразил: она протлела до половины и не дымилась. Женщина уже забыла курить. Или уже не могла. Ей было уж всяко не больше сорока, смотрелась она ухоженно и более чем миловидно и никак не походила на бомжиху или записную наркоманку; на нее оглядывались, но, как водится, только пожимали плечами – и, садясь в подкативший автобус, снова напоследок оглядывались и пожимали плечами еще разок: ну, в

жизни всякое бывает, а вообще-то не наше дело. Хорошо, что место было людное. Чье внимание женщина привлекла всерьез – так это двое разболтанных юнцов с банками энергетической отравы в пятернях; юнцы старательно делали вид, что женщину вообще не видят, до лампочки им женщина, но явно уже срисовали ее сумочку, широкое золотое обручальное кольцо, отчетливо дорогие сережки и с характерной вороватостью озирались в ожидании, что вот сейчас наконец все уедут на следующем, и можно будет проверить, соображает дама хоть что-нибудь, или все, что при ней и на ней, – наше.

Баста, подумал Фомичев, уймьтесь. Шиш вам обломится нынче, крысята. Стоять, бояться! И вы, негодующие праведники с высокомерной укоризной в белесых равнодушных зенках, тоже свободны, можете впредь не пялиться и не комментировать. Тише, тише, господа! Господин Искарриотов, патриот из патриотов, приближается сюда!

Фомичев развязно плюхнулся на сиденье рядом с женщиной.

– Томка, – сказал он громко, – ты чо тут расселась? Не спи, замерзнешь! Перебрала, что ли?

И панибратски хлопнул женщину по плечу. Легонько, разумеется.

Ее встряхнуло, как неживую. Не отреагировала.

Алкоголем припахивало, но лишь слегка; куда сильнее отдавало какими-то ласковыми духами. Фомичев ни черта не понимал в духах и прочей женской снасти, но, судя по тому, что аромат был вкрадчивым, тонким, мерцающим, налетал словно бы легкими взмахами, а не проедал воздух насквозь, как при газовой атаке, – духи были хорошие, дорогие.

– О-о, – сказал Фомичев, ловя на себе ненавидящие взгляды юнцов и частью подозрительные, частью любопытные – остальных. – Ну, старуха, ты даешь. Нельзя так веселиться. Ты ж завтра проснешься, а радости никакой, в башке по нулям, только вкус первого салата и головная боль. Недоглядел я опять... Выпорю!

Женщина не реагировала.

И что мне теперь, несколько раздраженно подумал Фомичев. Похоже, девушку чем-то накачали... К ментам нельзя. Может, и обойдется, но вероятность лишиться кольца и серег в милом обществе стражей порядка не шибко ниже, чем в каменных джунглях. Он обнял женщину, ладонь просунул ей под мышку, другой – подхватил под локоть; по ту сторону породистой тонкой ткани, совсем близко, женщина оказалась стройной и прельстительно упругой. Фитнес, шмитнес... Во всяком случае, явственно не шалава и не алкоголичка, а человек в беде.

– Пойдем-ка, радость моя, – заботливо сказал Фомичев. – Застудишь себе все на хрен, кто детей мне будет рожать.

Он аккуратно поднял ее, поставил на подгибающиеся ноги. Сигарета наконец-то выпала из ее пальцев. Фомичев внимательно осмотрел асфальт – нет, кроме сигареты вроде ничего не упало и не выкатилось. Разрывая грудью тугую паутину взглядов, он повел женщину прочь. Та хоть чуть-чуть, но все-таки на каком-то глубоко запрятанном автопилоте помогала ему. Шажок, еще шажок... Ее голова ездил по его плечу. Потом женщина зацепилась одной ногой за другую и он чуть ее не уронил. Нет, подумал он, так мы далеко не уйдем. Надо сразу тачку брать.

Но дальше-то куда? Лезть к ней в сумочку, искать паспорт, в котором адрес? Искать мобильник и в его записной книжке домашний номер? Вот уж тут-то меня за мародера и примут. С гарантией.

Ладно, поживем – увидим.

Хорошо хоть, машина остановилась почти сразу. Пожилой, надлежаше небритый водила, искоса глядя, как Фомичев затаскивает женщину на заднее сиденье, скривил свое коричневое лицо то ли кавказской, то ли среднеазиатской национальности, но смолчал.

– И на старуху бывает проруха, – пробормотал Фомичев, усаживаясь с женщиной рядом. Ее голова опять упала ему на плечо, и опять будоражащий аромат мягко плеснул словно бы на излете издалека, из разнузданной испанской ночи, где в серебряном лунном хмелю бурлят гордыми цветами соловьиные сады; накатил, позвал недвусмысленно в эту разнузданность и тут же уплыл. Фомичев обнял женщину и слегка прижал к себе, чтобы ее не мотало на поворотах. Похоже, ее понемногу начало отпускать; ослабела судорожная одеревенелость, тело стало мягче, и веки сонно опустились на недавно еще остекленевшие глаза.

– Старуха должен дома сидеть, – сварливо сказал восточный мудрец, перекидывая рычаг передач. – Кушать готовить, детей нянчить.

– Должен-то должен... – отозвался Фомичев и назвал свой собственный адрес.

Поехали. Вечерняя Москва длинными слепящими струями потянулась мимо.

– Дети есть? – вдруг спросил водила.

– А то как же, – браво ответил Фомичев. Женщина тихонько то ли всхлипнула, то ли застонала у него на плече.

– К сыну... – с трудом разлепив губы, вытолкнула она. Фомичев встрепенулся, прислушался, но она опять отключилась. Впрочем, уже и это было информационным подарком. Знать бы еще, куда это – к сыну. Тогда бы, подумал Фомичев, с моим удовольствием. И поплотнее прижал ее к себе – ему казалось, она мерзла. То есть на остановке-то она точно замерзла. Отогреть надо как-то...

– Это хорошо, – сказал водила. – Много?

– Четверо, – огрызнулся Фомичев. – Старшего вот в армию берут – жена и перестаралась немножко на радостях.

– Молодец, – вдруг с уважением сказал водила. – Старуха должен радоваться, когда сына в армию берут. Сын не воин хуже дочери. Дочь хоть рожать может, а сын не воин – тьфу, ишак.

– Ну, ты не горячись, друг, – уже всерьез завелся Фомичев; видимо, хмель из него все-таки не вполне выветрился. – А если сын – учитель? Или ученый?

– Паф! – сказал водила. – Ты думал, трудный вопрос, да? Простой вопрос. И в армии не всякий воин. И в школе можно быть воин. А ученый – о! – Он смело оторвал одну руку от баранки и уважительно воздел ее к потолку машины. И даже потряс, словно приветствуя подданных с трибуны. И некоторое время так и ехал. – Воин познания! – наконец пояснил он. Потом опустил руку и уже без пафоса признал: – И в армии не всякий воин, и в академии не всякий ученый.

Интересный мужик, с веселым удивлением подумал Фомичев. Женщина шевельнула губами, но беззвучно. Глаза ее были мирно закрыты, казалось, она уже просто спит. Уснула на плече у друга... У мужа. А вот сейчас они приедут домой, и ждут их четверо детей...

Их никто не ждал. Ни сын, ни дочь, ни пес, ни кошка. Даже кактуса на подоконнике не было у Фомичева. При его образе жизни, при его частых и долгих отсутствиях он мог завести дома разве что пыль. Но она и сама заводилась с успехом, пыль – не дети.

По лестнице он нес женщину на руках. Похоже, она и впрямь теперь просто спала – глубоко и, что называется, беспробудно. Мертвецки. Хорошо, что никто не встретился ни на лестнице, ни в лифте. Слегка запыхавшись, Фомичев уложил прекрасную незнакомку на диван; кусая губу, поразмыслил, потом решил снять с нее хотя бы пальто. Платье оказалось просто-таки вечерним, струящимся в облип тонкой талии и широких нежных бедер, с почти открытой грудью, и на груди – авторитетное ожерелье. Не подоспей господин Искарриотов, подумал Фомичев, крысята бы кучеряво поживились...

Экзотичный цветок нынче к нему занесло. Уже на дипломатических раутах наркотой балуются, что ли? Он присел на край дивана, наклонился к лицу женщины и профессио-

нально принюхался, погоняв к лицу воздух ладонью. Да, размеренное и совсем уже успокоенное дыхание гостьи отдавало алкоголем, но крайне щадяще, а была ли еще какая-то химия – трудно понять, запахи шли месивом; мягким ночным ловцом снова прыгнул откуда-то с длинной шеи, с обнаженных ключиц истомный аромат садов Севильи-Гренады и, недвусмысленно мурлыкнув присоединиться к сладостным субтропическим безобразиям, снова лукаво спрятался, свернувшись клубочком. Запрокинутое на подушку женское лицо, приоткрытые чувственные губы и покорно закрытые глаза были, оказалось, совсем близко. Фомичев резко отпрянул, будто в лицо ему плеснули кипятком. Женщины у него не было уже несколько месяцев. Да и то... «Каштанку» читала? Молодец, а теперь в койку... Тьфу, ишак.

В несколько проворных движений он обшмонал карманы ее пальто. Пусто. Весь в раздумьях, он вернулся в прихожую и повесил трофей на вешалку. Рядом с его расхожими вещами тот смотрелся, как блестящий султан цирковой лошади в вологодском хлеву. Поколебавшись немного, открыл сумочку и перебрал содержимое. В нашей маленькой шкатулке есть помада и духи... Сигареты есть. Дорогие. Ну, деньги. Немного, кстати – так, чисто карманные. А вот мобильника, например, нет. Документов, конечно, тоже нет. Информационный вакуум. Что же она, с неба свалилась? Девочка из будущего...

Врачей позвать? В нерешительности он некоторое время стоял рядом с диваном, совершенно отчетливо и уже почти без угрызений совести понимая, что любит ее, беспомощно лежащей навзничь, делай с ней что хошь, а потом снова присел рядом. Диван прогнулся, женщину чуть выкатило к краю, ее бедро коснулось его бедра. Он вздрогнул.

– Утром уеду к сыну, – вдруг внятно и с каким-то вызовом сообщила она, не открывая глаз. Он вздрогнул снова. Наклонился над нею и без сомнений, будто так и надо, мягко поцеловал в лоб, а потом, успокаивая, погладил по голове.

– Конечно, милая, – тихо сказал он. – Непременно поедешь. Он ведь ждет, да? Конечно, ждет. Он тебя очень любит. Таких сыновей поискать. А сейчас тебе надо отдохнуть и набраться сил. Ты немножко заболела, но это пройдет.

Ее губы, дрогнув, улыбнулись.

Завтра она очнется. Перепугается, конечно. Спросит: «Кто вы?» И я, подумал Фомичев, не знаю, что ответить...

Он решительно встал. Вынул одеяло и бережно укрыл ее. Чтобы ей стало совсем уютно и целебно, подоткнул со всех сторон, при каждом движении явственно ощущая на своих ладонях теплую, послушную тяжесть женского тела за рубежом одеяла – и твердо зная, что этой тщедушной границы не перейдет. Погасил настольную лампу, чтобы даже приглушенный угловой свет не беспокоил гостью. Набравшись наглости, взял ее сигареты и ушел на кухню курить. Сто лет не курил, а тут все-таки пробило.

## 4

Она перестала понимать, зачем живет.

В последние двадцать лет все было просто: для сына.

Вряд ли она обожала его как-то уж чересчур. Самозабвенно, фанатично, эгоистично... Какие есть еще определения для сумасшедшей матери? Нет, тут было иное. Она совсем не была диктатором. Никогда не пыталась лезть во все его дела и управлять ими по своему взрослому бабьему разумению. Никогда не требовала детального отчета по каждой проведенной вне дома минуте и аргументированного обоснования любых действий, казавшихся ей лично не вполне надлежащими. Ей были смешны и жалки дуры, которые поступают так и, сами того не понимая, на всю жизнь становятся, при всей своей якобы любви, первыми и главными врагами своих детей – а порой и их погубителями. Она очень рано поняла, что такое поведение диктуется не любовью (хотя старательно маскируется под любовь и самими дурами исключительно как любовь осознается), но всего лишь элементарным эгоизмом, в котором от любви либо очень мало, либо вообще ничего – просто боязнь, что вот дитя начудит, и придется расхлебывать; страх лишних хлопот. Она прекрасно понимала, что от подобных стараний, крайне трудоемких и невероятно нервных, будет, наоборот, плохо, и сама не заметишь, как со всей своей истерически упеленывающей заботой вырастишь не мужчину, а беспомощного уродца; так китайцы бинтовали ноги девочкам, чтобы пальцы намертво вросли под стопу и нельзя стало толком ходить. Утверждалось, что это апофеоз женственности и очень укрепляет семью. Беспомощный уродец, конечно, до поры до времени тоже очень укрепляет семью, однако хороша же та семья получается...

Может, она поняла все это, глядя на мужа? Еще не сознавая, что именно видит, но инстинктивно уже настораживаясь и начиная желать Вовке иной судьбы?

И уж подавно она не забывала из-за сына о своих собственных радостях и удовольствиях – в которых, впрочем, вполне знала меру, потому что предпочитала любым бурным усадям надежное светлое довольство.

Но все в ее мире должно было складываться так, чтобы мальчик рос хорошим и все у него срасталось хорошо.

Надо признать, что и до сына у нее все было довольно просто – но ведь у молодых всегда все, в сущности, просто. Неглупая начитанная мечтательная девчонка, которую бог ни фигурой, ни мордашкой, ни темпераментом не обидел – хотя и не послал ничего уж такого ошеломительного; конечно, главным в жизни была любовь. Ну, предчувствие любви. Вокруг этого все крутилось.

Естественно, ей была лестна и приятна самозабвенная преданность Журанкова. А то, что он такой неумелый, обаятельно нелепый, не от мира сего, но с перспективами нешуточного таланта, лишь добавляло наслаждения: лопух-то лопух, а когда она наколола ногу, заботливо высасывал ей ранку на пятке, прижимая талантливую голову к ее подошве с такой готовностью, так естественно, будто занимался этим каждый день. Она была уверена: он ее так любит потому, что это она такая. Много лет прошло, прежде чем она поняла: это было потому, что – он такой.

Да и нечего зажмуриваться: во времена их молодости непрактичность еще сохраняла некое очарование, некую советскую престижность; она считалась признаком одаренности и широты характера, устремленности в будущее. Закрытой двери грош цена, замку цена копейка, пели тогда под гитару. Сбациайте-ка это сейчас на Рублевке или, наоборот, тем, кто едва сводит концы с концами, с кровью отрывая копейки на самое необходимое, – дождетесь ли светлых слез слушателей? А в ту пору она вполне была под этим подлым гипнозом.

Она пошла за Журанкова, уверенная, что по любви.

И в первые годы после рождения Володьки все было, в сущности, хорошо. Ей нравилось, как Журанков чикается с младенцем, когда находит для этого время, – а он старательно находил; ей нравилось, как он учит его, карапуза, ходить на лыжах по Александровскому парку, и радуется, сам впадая в детство, – а уж карапуз и вообще в восторге; ей даже нравилось, как он рассказывает сыну вместо обычных сказок какие-то романтические бредни про полную тяжкого труда жизнь добрых звезд; чего, мол, стоит один нуклеосинтез, ради которого ослепительные Сверхновые жертвуют собой – а будь иначе, во всей Вселенной любая жизнь оказалась бы невозможна, – и ей, слушавшей краем уха, становилось тепло на душе.

Для порядка она журила: что ты забиваешь ребенку голову, какая там доброта у звезд, они же плазма, и все! А он смущенно улыбался: знаешь, я вот как подумаю, что кто-то смотрит на комочки слизи, называющие себя людьми, и думает: какая там у них доброта, они же просто комочки слизи... Зачем, мол, пожарные лезут в огонь, зачем спасатели спасают, не помня о себе? Наверное, это у них вроде как у леммингов, что по глупости кидаются в воду, просто закон природы такой.

И она смеялась.

Ей нравилось, нравилось, нравилось...

Она любила. Что тут скажешь – любила. Ей нравилось, как этот вечный мальчик ласково и всегда как бы чуть стесняясь трогает ее, мягко раздвигает, будто не к обладанию рвется, а бережно ухаживает за чудесным цветком, а потом, уже добравшись до сладкой глубины, в самый нужный момент все же становится наконец мужчиной и начинает, глухо рыча, вертеть ее, точно щепку в водовороте, мять и молотить, так что она снова, и снова, и снова, несмотря на откладывающиеся в теле и в душе годы, оказывается беспомощной девчонкой – и за эти короткие, но ослепительно яркие возвращения в юность она любила его, наверное, больше всего.

Потом до нее дошло: Вовка может вырасти похожим на отца.

Беззаботная борьба за дело Ленина сменилась жестокой схваткой за себя. Жизнь преобразалась. От ее требований уже не отделаться было ритуальным составлением социальных обязательств, приходилось подписывать финансовые, и ответственность за них была не чета пусть и унылой, но мало к чему всерьез обязывавшей советской игре.

Всеобъемлющий оползень науки был стремителен и страшен, но пес с ней, с наукой, не на ней свет клином сошелся; а вот неумение мужа найти достойное место в разухабистой и абсолютно бессовестной свистопляске, в которую кинули контуженных встряской людей новые хозяева, стало казаться безысходным. Ему, видите ли, надо заниматься только любимым делом. Зажмурился, как испуганный малыш, и решил, что если он не станет видеть перемен, так их и не станет. Но, в конце концов, по паспорту он давно совершеннолетний, пора бы отвечать за себя, а не может – никто ему не виноват. Его жизнь за него прожить даже самая любящая жена все равно не в состоянии. Ее жизнь и жизнь сына – несовершеннолетнего, между прочим, а значит, нуждающегося в том, чтобы для его блага что-то решали за него, – не станут жертвами на алтаре мужниных наивности и слепоты. Заняв круговую оборону, спина к спине отбиваться от жизни, работать и зарабатывать, одолевать и преодолевать – это она с готовностью, только горн протруби. Грустно пускать вместе пузыри – ни за что. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ждать смерти, как избавления.

Легко разлюбить того, кто оказался ненадежен. Ей всегда были отвратительны дуры, до старости вытирающие сопли мужьям и даже носовые платки вынужденные покупать на свои, а не на мужнины деньги, потому что мужниных денег в природе просто нет.

Но вытирать задрипанному таланту сопли – это еще ладно бы, это, в конце концов, противно, унизительно, но не страшно. Страшно ей стало, когда она вдруг начала улавливать в подрастающем Вовке черты Журанкова. Это оказалось, как удар плетью. Неожиданный,

незаслуженный. Сама-то она все делала для сына правильно. Но сын каждый день видел не только ее, но и его. Когда она представила, что Вовка, обреченный получить под застройку совершенно иной мир, чем в свое время получили, взрослея, они – куда более черствый, колючий, беспощадный к малейшей нерешительности, к малейшей доверчивости, к малейшему чистоплюйству, – может, чего доброго, войти в зверинец жизни не укротителем, а таким допотопным Шуриком из комедии, то поняла: надо спасаться любой ценой.

Иногда, философствуя в минуты досуга с сигаретой и чашечкой кофе, она позволяла себе поразмыслить о том, что и впрямь, наверное, бытие каждого последующего поколения является для предыдущего морально невыносимым.

Легко, думала она и делала маленький глоток, смеяться над стариковскими причудами, цитируя вавилонскую клинопись; ведь уже на глиняных табличках записаны пространные сетования о дурных и развращенных нравах молодежи, которая не чтит стариков, не проявляет скромности и не держит слова. И она отточенным движением подносила сигарету к губам. Ну, ясное дело, старики везде одинаковы, как брюзжали, так и брюзжат, и нечего обращать на них внимание. Четыре тысячи лет развращаемся и развращаемся – и ничего! А на самом-то деле, думала она и делала еще глоток, очень даже чего. Вавилон-то давным-давно нет, опрокинут развратом. Создается нечто новое, создается только благодаря тому, что создатели жестко и порой свирепо этичны – и все начинается сначала, пока не рухнет сызнова. Стальная строгость нравов новорожденного Рима – и бессмысленная вакханалия поздней империи. Энергичное пуританство основателей Америки – и дым марихуаны над сношающимися кампусами, престижность извращений, неуязвимая наглость нелегальных иммигрантов и повальная стрельба хоть в кого-нибудь. Революционная аскеза горами двигавших комсомольцев – и нынешний наш раздолбайский гедонизм... И каждое новое поколение видит только часть раскисания, и то состояние, при котором оно входит в жизнь, кажется ему нормальным, а то, что становится нормой уже для следующего, – Содомом. А для следующего поколения все повторяется, пока жизнь, проеденная сифилисом мотиваций, педерастией ценностей, не рассыплется окончательно, и очередные выскочившие из-за угла владыки не создадут очередное и тоже не вечное царство хищной чистоты.

Она изящно отряхивала наросший на сигарете пепел. Кофе уже начинал остывать, и она делала глоток побольше.

Нам в молодости и в голову не приходило, что парню с девушкой, чтобы поцеловаться, сперва лучше бы вдуть по баночке слабоалкогольного, а теперь, похоже, и смеяться трезвыми уже никто не в состоянии. Для нас водитель, полагающий, что правила писаны лишь для ущербных мозгляков, был хамом, а теперь это норма. Для нас, если мент ударил прохожего, это было чудовищное событие, из ряда вон, а теперь и к убийствам привыкаем и только на всякий случай шарахаемся подальше, завидев тех, кто нас бережет. Мы в детстве раннем до упаду возились на детских площадках, скакали, едва просохнут по весне тротуары, по меловым квадратам незабвенных «классиков», неумоимо раскатывали на ледяных горках, любой летний куст звенел, как птичьими, ребячьими голосами; а теперь малышни на улицах не увидишь – страшно оставить. Для нас крепостные заборы вокруг дач или терроризм и порожденные им повсеместные турникеты, ограждения, бесконечные досмотры и проверки документов были страшной сказкой о диких странах, а для нынешних это быт, и сравнивать не с чем. Прогресс...

Родителям нашим по сравнению с их безгрешной куцей юностью мы казались необязательными, распущенными, себялюбивыми, наглыми. И ровно так же у нынешних юнцов и юниц, когда мир станет крутиться уже стараниями их детей, волосы встанут дыбом. Она глубоко затягивалась напоследок. Тут главное – успеть сыграть в ящик, чтобы не оказаться вынужденным добывать хлеб насущный по правилам тех, кто порожден тобой; когда отпрыски войдут в силу, тебе, с твоими представлениями о допустимом и недопустимом,

мало не покажется. Прогресс ускоряется, и укорачиваются периоды, на протяжении которых для каждого поколения мир выносим. Но как это согласуется с иступленным желанием жить подольше? Да никак...

Этих мыслей хватало как раз на одну чашку кофе и одну сигарету. Она поднималась из кресла, оправляла туго обтягивающее платье, опрятно смахивала с него неизбежные снежинки пепла и выбрасывала отвлеченную чушь из головы до следующей сигареты, а то и дальше.

Как бы ни создавался очередной прекрасный новый мир, по каким бы законам ни жил – он должен оказаться сыну по плечу. А это значит, помимо прочего, что плечи сына ни в коем случае не должны походить на плечики отца.

Легко полюбить того, кто показался надежным.

Странно, но она уже не могла вспомнить, где и как познакомилась с Бабцевым. Конечно, на какой-то интеллигентной тусовке с возлиянием и вольными беседами – время от времени она позволяла себе встряхнуться, а доверчивый, неумело заботливый Журанков никогда не чинил тому препятствий и даже сам однажды вслух объяснил свою снисходительность: «Я ведь тоже иногда за полночь засиживаюсь за работой...»

Она уже настолько была готова его предать, что подумала: «Если Вовка так будет относиться к жене, надежной семье ему не видать, как своих ушей...»

Но было ли это сказано уже при Бабцеве или только в преддверии – она не могла вспомнить.

Поначалу он не то чтобы ей понравился; скорее она ему понравилась – и почувствовала это. Тактично заявленная мужская стойка всегда подкупает. А потом оказалось, что он храбрый романтик, обеими ногами стоящий на земле. Это сочетание восхитило ее. Не барыга, не нувориш из нынешних, которые как раз поперли из каждой помойки – капитаны бизнеса с тюремными наколками, ботающие по фене народные избранники, юные барабанщики, в одночасье ставшие кто певцами либерализации, кто высокооплачиваемыми адвокатами... Себя она знала: можно сколько угодно философствовать о необходимости приспособления, но заставить себя быть рядом с таким она не сможет, есть непреодолимые уровни тошноты. А тут – свой человек, но на две головы выше; интеллектуал-победитель, гордый, смелый, свободный. Честный до самопожертвования. «Лапа, завтра мы не сможем увидеться, прости, я срочно улетаю в Чехию – интервью с Гавелом...» «В Брюсселе я пробуду не больше недели...» «Валенса такой смешной увалень, но мужик основательный и никогда не лицемерит. Либо говорит, что думает, либо молчит. Ты тоже таких уважаешь? Как у нас много общего, что бы это значило?» «По секрету только тебе – возможно, нам организуют встречу с Хаттабом и Басаевым. Ну, не так уж опасно. Не волнуйся, малыш. В зеленке, в зеленке, непременно в зеленке. Конечно, с наших звероящеров станется и журналистов вешать на танковых орудиях, но... Но пойми, если мы эту страну не спасем – никто не спасет!»

Именно о таких в последних классах школы, на первых курсах института они, романтические интеллигентные девочки, пели под гитару: «Не оставляйте стараний, маэстро...»

Ей до сладкой дрожи захотелось, чтобы Вовка вырос похожим на него.

В первый раз она переспала с Бабцевым за два месяца до того, как сказала Журанкову, что уходит. Ей понравилось. Быть с ним в постели оказалось красиво и легко, словно в пылком танце. Ни похоти, ни грубости, ни неловкости – лишь изящная, полная взаимной заботы игра и бесстыдная радость освобожденного тела.

И к тому же нешуточная квартира в престижном районе столицы. И новенький «Ауди», и гонорары европейских издательств. И такой круг знакомств, что с непривычки чувствуешь себя по ту сторону телеэкрана. И в первый же год – отдых в Италии. Вовка, младенчески сунув палец в рот, смотрел-смотрел на Колизей, так похожий на тот, что столько раз мелькал перед ним на картинках и в телевизоре, только большой, твердый, не подвластный смене

страницы или канала, а потом осторожно, будто боясь в ответ услышать что-нибудь не то, спросил: «А он настоящий?» Бабцев присел перед мальчиком на корточки, положил ему руки на плечи и, глядя в глаза, мягко и властно сказал: «Запомни, Володька. Это только у нас в России одно вранье. Здесь все настоящее». У нее сердце защемило от восхищения. Рядом с ним, думала она, и Вовка вырастет настоящим – и готова была у мужа с ног воду пить.

Журанков растворился быстро и бесследно, как пар над вскипевшим чайником.

Так она думала.

Она не заметила, с чего начался закат. Иногда ей казалось очень важным это уразуметь, потому что от ответа зависело, ни много ни мало, решение вспоминавшейся время от времени проблемы: что в человеке главенствует – дух или плоть? Но установить истину она так и не смогла. Все происходило очень постепенно; наверное, думала она, одно от другого в нас просто неотделимо.

Невозможно оказалось вспомнить, задолго ли до роковой поездки ей стало все чаще становиться скучно с ним в постели. Яркий парный танец, исполненный азартной, ничем не стесненной свободой, огненный выплеск естества мало-помалу оказался чем-то вроде однообразной производственной гимнастики, полезной, наверное, но не дававшей ни близости, ни радости, и порой ей думалось, что лучше бы она и впрямь где-нибудь просто потанцевала, чем слушать, как он пыхтит.

А может, в начале, как и положено, было слово – страшное слово «маргинал». Когда она мысленно назвала так мужа впервые, то сама испугалась. По-настоящему смелых, честных и талантливых всегда мало, уговаривала она себя, их всегда не понимают, их всегда травят, поэт и толпа, совесть и власть, праведник и быдло, нет пророка в своем отечестве, Волга впадает в Каспийское море... Но при чем тут было все это, когда он в тысячный раз высокомерно и кощунственно трендел о рабьей природе этого народа, о его неизбывной ностальгии по сильной руке, по хозяину... А как может старик, вышвырнутый из своей каморки по таинственному новомодному закону, не ностальгировать о временах, когда ему был гарантирован пусть минимальный, но неотъемлемый и нерушимый предсмертный покой и достаток? Как может одаренный мальчишка, которому не на что учиться, не мечтать о временах, когда образование было бесплатным? Как может честный работяга, которому ничего теперь не полагается, потому что он, оказывается, неправильно жил, не грезить о порядке, когда жулье только по углам таилось, тырило украдкой по мелочам, а не хохотало вызывающе из золотых теремов? При чем тут рабство, при чем тут сильная рука? Он вообще смотрит вокруг? Он вообще-то говорит о том, что видит, или, зажмурившись, повторяет, как попка, одно и то же просто потому, что за это еще платят?

Их становилось все меньше и меньше. Они становились все глупее и глупее. Их совсем уже никто не слушал, кроме их же самих, над ними потешались за глаза, передразнивали, как придурков, с переменным успехом стараясь из последних сил соблюдать внешнюю видимость корректности – у нас же демократия, да и правда, что с убогих взять. И чем менее интересны они оказывались здесь, чем меньше их мнение чего-то стоило и кого-то трогало, чем меньше им было что реально предложить, тем больше западная публика старалась хоть как-то их подкормить и утешить; тем громче там, где нет вранья и все-все настоящее, кричали, как стремительно Россия вновь скатывается к тоталитаризму, как в ней снова подавляется всякая живая мысль и как затыкают рты самым искренним, самым умным, самым демократичным, самым болеющим за судьбу своей страны...

Этому никто уж не удивлялся; давно понятно, что для европейца и клоп – демократ, если кусает русского. А ей становилось тяжело – он же не клоп, он муж.

Но потом – трагедия с Вовкой. А у этого подонка даже тогда никаких слов не нашлось, кроме затверженных еще со времен, наверное, Горбачева, когда эта галиматья шла по свежаку на «ура»: генетическая ненависть к инородцам, русская страсть к погромам, хоть кол

им на головах теши – они и вовсе без голов проживут, хоть медом общечеловеческие ценности намажь – они не возьмут, лучше собственным дерьмом сыты будут... Она смотрела на его губы, шевелящиеся толстыми червяками, даже без ненависти, просто с гадливым удивлением: и это – то самое? Не оставляйте стараний, маэстро?

Да, отдав дань растерянности и панике, он пришел в себя и что-то такое пытался, дергал за какие-то свои ниточки – но они все оказались с подвохом: что с вами, светоч вы наш? Сочувствуем, сочувствуем, разумеется, вашим семейным проблемам, но вы же понимаете, русский фашизм – это такое бедствие, такая опасность для человечества, что никакое снисхождение недопустимо, мальчик должен получить хороший урок... Он и сник.

А потом Вовку выручили совершенно другие люди, и сын вдруг оказался под крылом у своего нелепого отца, который, смешно подумать, после десятка лет на хлебе и воде непостижимым образом оказался кому-то нужен, и как нужен! Космос им, видите ли, опять понадобился – а вместе с космосом и те, кто, вопреки всякому здравому смыслу, наперекор истории, и впрямь, оказывается, не оставлял все это время каких-то совершенно невообразимых стараний...

Так это что же – ее потешный Журанков, что ли, маэстро? Настоящий, как Колизей вблизи?

От этого можно было взбеситься.

Первая их встреча в Полудне длилась жалкие несколько минут, но она и за эти минуты почувствовала: он все еще принадлежит ей. Как он смотрел, как говорил – так не говорят с чужими, так не говорят с теми, кого хотят оставить чужими из мстительности или от обиды; так говорят с теми и смотрят на тех, кто впечатан в тебя навек. Стало ясно: она могла бы взять его снова в любой момент. Но она не успела прикинуть, хочет этого или нет, не успела почувствовать ничего, кроме какого-то странного умиротворения – хоть тут все осталось по-прежнему; радуется ея такая неизменность или просто льстит – не угналась разобрать. Все испортила эта хищница, эта узкоглазая кобра.

Еще бы, теперь-то ее муж всем понадобился! Когда его вдруг короновали гением! Когда кругляшом драгоценного сыра пустили кататься в масле, видать, погуще советского, где купались полвека назад ядерные физики! На готовенькое-то все горазды! Она, что ли, эта азиатская вертихвостка первой распознала в Журанкове талант и так долго, многие годы, преданно служила ему, и стирала ему, и родила ему сына? Нет! Не она!

Уезжать было нестерпимо.

До отъезда они с Бабцевым пробыли в Полудне еще два дня, но поговорить с бывшим мужем наедине так и не удалось. С сыном – пожалуйста, Вовка был сама сыновняя любовь, и будь она в ином состоянии – то беспримесно могла бы наслаждаться тем, как поразительно он изменился, возмужал, повзрослел, как повеяло от него спокойной сдержанностью, и уверенной добротой, и чуть снисходительной преданностью маме... Но не с мужем. Можно, конечно, было все списать на случайности, но, похоже, кобра оказалась отнюдь не дурой и стояла на страже.

Да если бы только кобра!

Баба бабу насквозь видит, и ничего тут нет из ряда вон выходящего, – но какого черта Бабцев-то вдруг ни с того ни с сего начал набиваться Журанкову в друзья-приятели?

А ведь начал. Его подходы и прихваты она за годы, проведенные вместе, выучила наизусть. Вдруг он принялся вслух превозносить счастливый случай, благодаря которому наконец удалось познакомиться с вами, уважаемый Константин Михайлович, ведь я, распинался он, о вас так много хорошего и лестного слышал, и не только от нашей общей жены, ха-ха, а и от весьма авторитетных издателей, заинтересованных в воскрешении научно-популярной литературы... Согласитесь, в наше время в России научно-популярная литература в ужасном состоянии. В советское время выдающиеся ученые, такие, как, скажем, Шклов-

ский, отнюдь не чурались работы для широкой публики. И это давало поразительные результаты. Вы в детстве читали Шкловского? Ну, конечно! И я! Помню, как это потрясло! Глаза горят, в зобу дыхание сперло... Вот и теперь надо же как-то поднимать эрудированность мальчишек и девчонок, правда? Нельзя отдавать информационный поток дилетантам и профанаторам, безграмотным делягам и мистикам. Ведь, в конце концов, от этого зависит будущее российской науки! Увлеченный ребенок – это не обязательно будущий великий творец, но будущий великий творец – это непременно сегодняшний увлеченный ребенок! Вот вы, например, не хотели бы попробовать свои силы в этом жанре?

Господи, думала она, да с каких пор его будущее российской науки взволновало?

Вдруг его заинтересовали, понимаете ли, какие-то червоточины в пространстве. Вдруг он оказался фанатом покорения большого космоса. Оказывается, все его статьи о том, что России на фиг не нужно лезть никуда выше свалок, все равно она превращает в свалки все, куда залезла, вызваны были исключительно, видите ли, его опасениями за бессмысленное перенапряжение российского бюджета в тяжелый для страны период; ведь, в конце концов, жидкостные носители – это тупик, это бешеные деньги на ветер, а ветер – он ведь не для денег, а для парусов, и вот когда новая наука придумает какие-то новые паруса, принципиально отличающиеся от гремучего огненного убожества, ядовитого и взрывоопасного – он, Валентин Бабцев, обеими руками будет за новое соревнование в космосе, в котором России, конечно же, усилиями таких, как вы, уважаемый Константин Михайлович, суждено быть если и не вечным лидером, то, во всяком случае, заслуженно занять одно из призовых мест... Как вы оцениваете перспективу? Ядерные двигатели? Орбитальный самолет? Или что-то еще более новаторское, из области фантастики?

Не будь этой болтовни, не займи супруг этим непонятным обхаживанием все свободное время мужа, она бы уж улучила момент. Морозы отступили, накатила сухая сверкающая весна. В одночасье сугробы расцвели навстречу солнцу блестящими игольчатыми подпалинами, а по обнажившемуся асфальту побежали, будто в детстве, сверкающие ручейки с черными сморщенными пенками на заторах; и так мирно, душевно было бы пройти с Журанковым по берегу еще заснеженной речки, может, даже под руку, и вспомнить прошлое. Как ни крути, а мы тогда были молодые. И ведь нам было хорошо, правда? Жизнь – непредсказуемая штука. Главное – прочь обиды, надо ценить хорошее и рукой махнуть на плохое, тогда самому же легче дышится. Знаешь, хочешь верь, хочешь – не верь, но я, сказала бы она, рада тебя видеть... Смешно, сколько времени врозь, а вот стоило оказаться рядом, и какие-то древние рефлекссы просыпаются; никуда они, оказывается, не делись – хочется то шарф тебе поправить, то показать красивое облако, которого ты, задумавшись, не замечаешь, то уговорить зайти в магазин купить новую куртку. Да-да, куртка у тебя ни в какие ворота, протерлась вон. Ты что, не замечал? Молодая подруга за тобой плохо смотрит.

А ведь мы, вдруг подумала она, прикидывая будущий разговор, действительно были молодые...

Такие молодые!

И нам было хорошо.

Говоря все это Журанкову, поняла она, ей не пришлось бы кривить душой. Она действительно хотела бы пройти с ним под руку по заснеженной набережной.

Но супругу приспичило интересоваться физическими аспектами погружения в черную дыру. Вот нашел время! И, главное, на кой ему это? Журанкова-то, несмышленища, он обманул, тот в ответ на нежданное внимание просто фонтанировал историями о каких-то, тихий ужас, конифолдных переходах, но она-то знала, что Бабцеву весь этот космос на фиг не нужен. А вот что ему понадобилось – это был вопрос. Впрочем, ответ напрашивался – сама-то она тоже была в те дни в высшей степени приветлива и уважительна с раскосой коброй и щебетала с нею, точно с лучшей подругой. Славный у нас подобрался коллектив,

думала она, хорошо сработавшийся... А посреди всего этого цирка возмужавший ребенок Вовка торчал, приоткрыв рот, озирался и нарадоваться, похоже, не мог, как мы все быстро и славно подружились, и ему не надо ни от кого уходить, чтобы к кому-то прийти.

Да, уезжать было нестерпимо, но оказаться снова в Москве с супругом вдвоем, в безнадежной дали от места, где жили главные люди и происходили главные события, оказалось стократ нестерпимей.

К тому же супруг странным образом в последнее время утратил яркость и кураж, сдулся как-то, творил реже, публиковался меньше – было даже странно, откуда в доме берутся деньги. Ну, если абстрагироваться от негустых ее офисных. Причем денег было уж всяко не меньше, чем прежде, если не сказать – больше. Однажды она не выдержала и невзначай завела об этом разговор. Супруг, похоже, понял ее сомнения с полуслова и очень, очень спокойно ответил: сколько можно молотить по клавишам, времена меняются, надо подумать, осмыслить, найти новое место в новом мире... А денег меньше не становится, потому что он правильно выбирает издателей («Помнишь генералиссимуса Суворова? Не числом, а умением!»), да и его имя работает на него. На нас. На всех нас, лапа.

Слова были исключительно правильные, не придраться. Но не могли они отменить того странного факта, что ее мужчина утратил блеск. Будто отполз в угол и то ли от чего-то прятался, то ли чего-то ждал. Будто его стиснули в кулаке, как слишком уж расчирикавшуюся и надоевшую канарейку, и что-то надломили. Она решила, что так на него подействовала беспомощность в драме с Вовкой. Как ни посмотри – он честно, по-отцовски пытался помочь, но ему, журналисту с именем, привыкшему ногой открывать любые кабинеты, вдруг дали под зад в самой что ни на есть болезненной ситуации – семейной; именно когда от него вдруг оказались зависимы не какие-то там смутно плавающие в небесных хлябях судьбы реформ, а незамысловатые и насущные, как ботинки, судьбы близких людей, его и поставили на место. Такое действительно могло надолго сделать мужчину калекой, подумала она и решила стараться быть с ним поласковой – насколько это вообще возможно при нынешнем раскладе. Пространство, которое супруг занимал в ее душе, таяло неудержимо, точно ледышка в кипятке. Жизнь с Бабцевым утратила смысл, когда Вовка оказался не здесь.

А с отцом.

Ей ведь, положила руку на сердце – тоже надо было быть там.

Недели через две или три, что ли, после вояжа в Полдень вдруг выяснилось, что супруг переписывается с Журанковым по мэйлу. Это ее поразило. Но с него и тут как с гуся вода. Лапа, сказал он спокойно, я не буду вдаваться в дела былые, что уж между вами тогда надломилось – не мое дело, но, честно тебе скажу, мне он показался весьма достойным и очень интересным человеком. Он мне симпатичен. А кроме того, это мне и профессионально может пригодиться. Человечество вдруг будто очнулось – или наоборот, с кризисного отчаяния опять гашиша накурилось, не знаю пока, – но ты посмотри, как про полет к Марсу снова заговаривают то тут, то там. Если, паче чаяния, и впрямь возьмутся – это будет действительно колоссальное дело. Общечеловеческое, между прочим. Мне же надо держать руку на пульсе. Где гарантия, что твой бывший муж не окажется так или иначе связан с проектом?

Да, тут тоже было не придраться. Это она понимала. Заблаговременно подгрентовать будущий доступ к вероятному центру внимания всего мира и сопричастность великому свершению – уважительная причина для кого угодно, а уж для журналиста и подавно.

Но, с другой стороны, если ему интересно и важно поддерживать отношения с Журанковым, то ей и сам бог велел. Раз Володька там...

С Журанковым. С отцом своим.

И с его темпераментной юной пассией.

Странно: пока Вовка жил тут с ними, рос и вырослел при них, при ней, и она жила надеждой, что сын день за днем исподволь пропитывается умом и умениями Бабцева, его

драйвом, она не только не вспоминала Журанкова добрым словом, но вообще не интересовалась, как ему живется и, тем более, с кем. Ей даже в голову не приходило, что ему даже до пятидесяти довольно далеко и он вполне еще может водить в дом барышень или что.

А вот теперь она ревновала его к азиатке смертельно. Иногда, как девчонка, уснуть не могла, ворочалась рядом с похрапывающим Бабцевым и то всей плотью вспоминала с умилением, как они с Журанковым, оба неловкие, но ласковые девственники, в первый раз были вместе, то перед закрытыми глазами у нее раскаленно всплывали, тесня друг друга, непристойно шевелящиеся видеоклипы его нынешних блаженств – и сердце начинало колотиться с яростной частотой и так сильно, что, казалось, ее при каждом ударе подкидывает над постелью. Анекдот: Журанков начал ей сниться! В самых что ни на есть откровенных снах! Курам на смех!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.